Хозяин теней

Автор:
Ксения Хан

Хозяин теней

Ксения Хан

#ONLINE-бестселлерТеодор Атлас #1

Ирландия, начало девятнадцатого века. В лесу, неподалеку от маленького портового городка, среди убитых англичан в сознание приходит человек. Он не помнит своего имени, возраста и ничего не знает о своем прошлом. Его спасает девушка-травница и дает новое имя, с которым он может начать жить заново.

Англия, наши дни. В маленьком городе на берегу гавани держит антикварную лавку человек по имени Теодор Атлас. Его телу больше двухсот лет, но бессмертная душа, похоже, не планирует умирать. Теодор ведет нелюдимый образ жизни, общается только с партнером по бизнесу Беном и никого не хочет впускать в свой мир. Но в его жизнь врывается череда дежавю, от которых он не может отмахнуться.

Ксения Хан

Хозяин теней

1. Кофе из Шалотт и пино-нуар

Из-за стены доносится размеренный стук шагов: кто-то спускается по лестнице со второго этажа в лакированных туфлях и бодро стучит невысокими каблуками

по деревянным ступеням. Этот кто-то – Бен Паттерсон, молодой человек тридцати трех лет с гладко выбритым точеным подбородком, острыми скулами и бледной кожей, которая сильно контрастирует с его темными кудрявыми волосами. Вот Бен замирает у стола в кухне и наливает себе чашечку свежесваренного кофе – напиток бурлит в его чашке, аромат тянется на веранду. Потом его туфли шаркают по полу – Бен разворачивается и выходит на задний двор через черный ход. Он прихлебывает из чашки и, глядя вдаль, спрашивает:

– Ты сегодня снова не спал, Теодор?

Теодор хмуро наблюдает за полетом чайки над гаванью: под карими глазами – тени, волосы встрепаны. Он с ногами сидит на резном деревянном стуле и упирается коленями в деревянную балюстраду веранды, выкрашенную в белый цвет. Обтянутые мятыми брюками коленки торчат из-под длинного халата с китайским узором.

– Поспал минут сорок, – отвечает он спустя некоторое время.

Бен вздыхает, цепляя на нос очки. Сейчас снова будет читать проповеди о здоровье.

– Даже не начинай, юноша, – мотает головой Теодор и тут же тихо охает. Кажется, будто мозг прыгает в черепной коробке, точно мячик.

– Ты не пробовал нормально жить? – тянет Бен.

– Нет. Я пробовал нормально сдохнуть.

Бен снова вздыхает.

– Что-то пока не выходит.

– Да, спасибо, а то я сам не заметил.

Перед глазами Теодора все плывет. На самом деле, сорок минут сна лишь усугубили положение: лучше было вовсе не спать, чем теперь клевать носом и

пытаться собрать себя воедино. Он внимательно прислушивается к себе. Сердце стучит быстрее в несколько раз, снаружи жарко, а внутри – холодно. Руки трясутся, если их поднять, да и ноги от такого положения затекли. Его состояние можно описать как удручающее.

Но он явно не умрет от простого недосыпа. Максимум – упадет в обморок и очнется уже где-нибудь в кровати в собственной спальне или на софе в гостиной, а Бен потом будет полдня причитать над ним, как старик.

Жаль, гордость не позволяет Теодору пустить себе пулю в висок. Хотя она, надо признать, тоже не принесет облегчения – разве что головную боль.

– Ну и чего ты добиваешься? – скептически поджимая губы, спрашивает Бен. Он сидит рядом на таком же стуле и раскачивается на его задних ножках. Кощунственное отношение к парному стулу из коллекции двадцатого века, надо сказать.

– Исследую возможности своего организма, – отвечает Теодор. – Пытаюсь понять, сколько продержусь без сна и еды.

– Ты еще и не ел?!

– Пока что выходит около двух суток.

Бен откидывается на спинку и прикрывает рукой глаза.

– Сломаешь его, и я тебя убью, – говорит Теодор, морщась от скрипа половицы. Бен безразлично отпивает еще глоток кофе.

– Тебе надо поесть, – говорит он. – И поспать. Выглядишь хуже смерти.

Теодор угрюмо хмыкает в скрещенные у подбородка пальцы.

– Видел я смерть. Поверь, мне до нее далеко.

Некоторое время они молчат, смотрят на гавань и думают каждый о своем. Теодор крутит серебряное кольцо на мизинце и прикидывает, стоит ли ему

выпить кофе сейчас или подождать полного истощения организма и тогда уже залить умирающий желудок звериной дозой кофеина. Интересно, получится ли у него в этот раз выпасть из жизни на месяц или хотя бы пару недель – или Бен откачает его раньше и достанет нравоучениями так, что захочется повеситься?

– Ты меня слышишь? Теодор!

Желание затянуть петлю на шее возникает прямо сейчас.

– Тебе пора на учебу. – Теодор устало прикрывает глаза. Темноту тут же заполняют всполохи белого и желтого цветов – явный признак того, что сознание отключится, если просидеть с закрытыми глазами хотя бы полминуты.

Скрипят ножки стула. Теодор морщится. Бен встает, допивает свой кофе и, возвращаясь в дом, бросает напоследок:

– Поспи, вечером ты должен быть бодрым.

Мысли Теодора вязнут в густом желе из уличного шума, криков чаек с побережья и стука собственной крови в ушах.

– Зачем мне быть бодрым?

Бен недовольно поджимает губы.

– Меня пригласили на аукцион, я говорил тебе. Ты идешь со мной.

Дверь на веранду закрывается, и Теодор устало стонет. Он ненавидит сборище чванливых стариков, от которых пахнет высокомерием ушедшей эпохи роскоши и классового неравенства. Общество малолетних гордецов, слепцов и хвастунов, вот что он о них думает. Жаль только, вслух говорить такие вещи нельзя, ведь ему всего-то тридцать восемь – слишком юный возраст для того, чтобы тягаться в мудрости с шестидесятилетними вершителями судеб на аукционах антиквариата.

Или уже сорок?

Теодор не помнил своего возраста. Последний паспорт, который он выправил себе на имя Теодора Атласа, говорил, что ему около тридцати, но это было лет десять назад. Возможно, стоит проверить документы.

Он вздыхает, с трудом поднимается со стула и уходит в дом с тяжело гудящей головой.

Похоже, придется завязать с очередным экспериментом по умерщвлению себя, раз уж вечером он нужен Бену в приличном виде.

* * *

Они всегда считают себя выше других хотя бы потому, что свою недолгую в шестьдесят с лишним лет прожили в богатстве элитных семей среди ядовитых разговоров о политике, слухов и ненормальных влечений к показной роскоши. Такие люди выставляют себя всезнающими и пытаются указать ему, молодому, на недостатки современного воспитания, образования или опыта. Теодор видит в них лишь малодушие вкупе с чрезмерной гордостью. Он мог бы сказать им, что их недалекий ум вряд ли станет ему примером, но только это бесполезно.

Теодор слишком юн для стариков почтенного возраста, чтобы иметь свое мнение насчет предметов интерьера, возраст которых насчитывает не одно столетие, поэтому ему стоит внимать остальным и не пытаться доказать свое превосходство. По крайней мере, Бен говорит ему это постоянно.

Хотя Теодор никогда его не слушает, и они оба это понимают.

– Это же мистер Стрэйдланд, – тихо охает Бен, глядя за спину своего спутника. Теодор поворачивается, видит лысый затылок высокого худого джентльмена и позволяет себе ядовитый смешок.

– Пришел полакомиться остатками пира, стервятник, – скалится он.

Бен молча хватает его за рукав пиджака.

– Не начинай.

Теодор медленно опускает голову, хотя смотреть вниз или вверх ему все еще тяжело – сон не принес желанной бодрости.

– Ты знаешь, что я не люблю, когда ты хватаешь меня за рукава, юноша.

Бен недовольно поджимает губы.

– Ты не любишь, когда тебя хватают за что угодно, и не стоит конкретизировать.

Теодор глубоко вздыхает и выдергивает твидовый локоть из цепких пальцев Бена.

– Напомни мне, почему я все еще здесь и терплю тебя? – спрашивает он, склонив голову, на что получает лаконичный ответ и добавку, приправленную ядом:

– Потому что нам нужен Уотерхаус. А еще потому что ты снова занимаешься бессмысленной чепухой и тебе нужно развеяться.

– Я исследую возможности своего организма, – цокая языком, поправляет его Теодор. – Это не бессмысленная чепуха.

Бен даже не смотрит в его сторону.

– Ты знаешь, что все твои попытки убиться окончатся провалом, и не тем, на который ты рассчитываешь. Поэтому они бессмысленны.

Нацепив на тонкую переносицу очки в черной матовой оправе, Бен осматривает зал, полный тел, рук и ног, упакованных в дорогие костюмы, голов разного цвета, лысых и кудрявых, прилизанных лаком и взъерошенных по последней моде. Теодор ее не понимает. В зале, где долгое время балом правила «Леди из Шалотт», единственная прекрасная женщина города, в зале, полном людей и картин, лиц живых и нарисованных, он чувствует себя как в рыбацком порту.

– Придумай себе более приветливую маску, – говорит Бен вполголоса, подзывая снующего между местными снобами мальчишку-официанта. Он еще моложе Бена: на вид ему лет двадцать с небольшим, и на его лице Теодор еще не видит поцелуев старости. Гладкая кожа без единой морщинки. Только возле светлых,

почти бесцветных глаз застыли лучики частых улыбок.

– Зачем? – справедливо вопрошает Теодор, поднимая с подноса бокал темного вина. – Я не собираюсь раздаривать этим высокомерным попугаям свои улыбки только ради их внимания.

Бен вздыхает и делает первый глоток из своего фужера. Он отдал предпочтение белому – голова должна быть ясной. Стекло потеет от его дыхания, вино остается у краешка рта кисловатым о себе напоминанием. Бен украдкой слизывает каплю и вытирает губы носовым платком, уголок которого до этого торчал из нагрудного кармана его пиджака как простой атрибут и дань моде.

Теодор высматривает в толпе стервятников самого жилистого и сухопарого, мистера Стрэйдланда, и резким движением опрокидывает в себя бокал вина, мимолетно ощущая на языке его вкус, а в горле – терпкое послевкусие.

– Это был бургундский пино-нуар, – замечает Бен, поджимая губы.

– По твоему тону можно подумать, – вторит ему Теодор, – что этот бокал вина чем-то отличался от двух предыдущих.

Бен вспыхивает так, словно его оскорбили в лучших чувствах.

– Ненавижу, когда ты так делаешь.

– Как?

– Запрыгиваешь в товарный вагон летящего мимо попутного поезда, когда у тебя в кармане лежит билет на варшавский экспресс через горы, но тебе не хочется его ждать.

Теодор выгибает бровь такой дугой, что она теряется в его темных волосах.

– Какие метафоры – и все из-за вина?

Бен хмыкает и делает второй глоток из своего бокала.

– А я не о вине говорил, – и отводит взгляд, улыбаясь своим мыслям.

В этот момент двустворчатые высокие двери художественной галереи распахиваются с тихим скрипом, который раздается во всеобщем гуле голосов так, словно кто-то разрывает пополам книжную страницу. Теодор оборачивается, следуя за взглядом Бена, и видит улыбающееся широкое лицо устроителя аукционов.

– Генри? – удивленно отзывается Бен.

– Вернулся, значит.

Среди прочих подобных лиц Теодор готов с теплотой относиться только к Генри Карлайлу, которого среди искусствоведов зовут «добряком Генри».

– Добро пожаловать, дамы и господа! – Светловолосый мужчина с улыбкой хлопает в ладоши, и этот глухой звук эхом разлетается по душному залу. – Прошу прощения за задержку. Проходите, присаживайтесь!

Вот, значит, кто будет вести аукцион. Теодор довольно хмыкает, впервые находя весомую причину своего здесь присутствия.

Бен проходит в зал среди прочих и садится поближе к подмосткам. Теодор остается стоять у дверей, прислонившись к мраморной колонне лбом. Гладкая поверхность холодит кожу и успокаивает гудящую голову, в которой снова возникают навязчивые мысли.

Теодор думает, что причина тут не только в сегодняшнем недосыпе.

– Итак, господа, начнем? – слышит он мягкий, с хрипотцой голос Генри. Неизвестно, виновато ли в этом пристрастие к курению или же этими нотками его наградила природа, но баритон у искусствоведа Генри Карлайла в самом деле приятный.

Еще одна отличительная особенность, благодаря которой он получил свое прозвище среди именитых господ. Такому голосу хочется верить.

Генри улыбается со своего постамента невольно умолкающим гостям и просит внести первый лот.

Фредерик Лейтон, «Этюд головы музыканта из «Празднования Мадонны Чимабуэ»».

Поскольку сегодняшний вечер посвящен прерафаэлитам, небольшая картина англичанина-академиста служит лишь аперитивом. Как, впрочем, и все последующие лоты, несмотря на внушительные размеры некоторых из них.

Теодор следит за настроениями в зале со скучающим видом. Время от времени на него удушливой волной накатывает сон, и выпитое вино бодрости никак не способствует. В воздухе кружит запах денег и пота, так что Теодор с ядовитой ухмылкой думает, что даже элитному обществу никуда не деться от своей человеческой природы, сколько ни чти они себя богами.

Эскиз Габриэля Росетти мелькает перед глазами Атласа вслед за его приятелем Милле. Отчаянные романтики девятнадцатого столетия.

Иногда Теодор ловит себя на мысли, что ему жаль нескольких десятков пропитых впустую лет, которые он мог бы заполнить знакомствами с кем-то более приличным, чем деревенские пьянчуги старой доброй Англии.

– Ну, и наконец… – радостно вздыхает Генри и замирает в ожидании. Его лицо светится не только в лучах ламп неприятного электрического света, направленных на небольшую сцену. Теодор выпрямляется, отталкиваясь от колонны плечом. – Последний лот нашего аукциона. «Леди из Шалотт».

В зал из боковой неприметной двери вносят картину, облаченную в тонкую позолоченную раму из старого дерева. Темные декорации, посеревшие и позеленевшие от времени, окружают девушку в красном платье, навеки застывшую в порыве увидеть мир своими глазами, а не через зеркало теней.

Джон Уильям Уотерхаус. «Леди из Шалотт смотрит на Ланселота». Первый эскиз.

По частоте появления на картинах прерафаэлитов трагичная история Леди из Шалотт уступает только Офелии, и Теодор смотрит на юную женщину как на

давнюю знакомую. Ему нравится, какой изобразил ее Уотерхаус. Такой решительной он не видел ее ни на одной из картин других художников.

– Ну, здравствуй, красавица, – шепчет Теодор себе под нос, и его губы растягиваются в невольной улыбке, больше похожей на хитрую усмешку, наискосок прочертившую лицо.

Это не копия, заменяющая оригинал картины в галерее. Это подлинник эскиза, сохранивший первые небрежные мазки художника.

Собравшиеся в зале гости гудят, напоминая пчелиный рой. Теодор раздраженно хмурится, глубоко вздыхает и на миг прикрывает глаза. Надо отвлечься от явного возбуждения толпы, чтобы сохранить ум в спокойствии на время торгов.

Им с Беном нужна эта леди.

– «Леди из Шалотт смотрит на Ланселота», – улыбаясь чуть дрожащими от воодушевления губами, выдыхает Генри. – Джон Уильям Уотерхаус, тысяча восемьсот девяносто четвертый год.

При нем сегодня нет микрофона, и его голос поглощается шумом гостей в малом зале, но эту фразу слышат все и с нетерпением замирают.

– Начнем торги, – продолжает Генри, – с двух тысяч фунтов.

Теодору кажется, что стартовая цена изначально низка, он даже чувствует укол ревности за свою леди, но крики господ быстро поднимают стоимость до ста тысяч, ста пятидесяти, почти до двухсот.

– Двести пять тысяч, – слышится среди размеренного гула тенор Бена. Стервятник Стрэйдланд отвечает ему с другого конца зала:

– Двести пятнадцать.

Теодор следит за ними некоторое время, его пальцы выстукивают на согнутой в локте руке размеренный ритм. В голове повторяющимся бесконечным циклом звенит услышанная от Бена песня, настолько молодежная и непонятная, что

даже мутит, но, как и всякая надоедливая мелодия, эта не хочет оставлять его в покое.

– Двести семнадцать! – цедит Стрэйдланд сквозь зубы. По выражению его лица можно понять, что выскочка Паттерсон его уже разозлил.

Бен оборачивается и высматривает Теодора за спинами ценителей искусства. Тот кивает, делая шаг к Генри и картине.

– Предлагаю двести пятьдесят тысяч фунтов, – говорит он глубоким голосом, рассекающим гудящую толпу, словно острое лезвие ножа. Бледные лица его оппонентов, всех, кто есть в зале, застывают вокруг него неживыми масками.

Они с Беном проворачивают такой ход уже в четвертый раз. Возражений быть не должно.

– Это моя картина, малолетний юнец! – шипит старик Стрэйдланд, меняясь в лице от злости: бледные впалые щеки покрываются неприятными розовыми пятнами, на скулах выступает испарина. Теодор не удостаивает его вниманием.

На случай, если у стервеца Стрэйдланда есть ответ, Бен найдет в рукаве последний козырь, но Теодору не хотелось бы его разменивать.

– Как всегда, неизгладимое впечатление, мистер Атлас! – Генри позволяет себе усмехнуться, но тут же возвращается к официальному тону, в котором сквозит легкая радость. Значит ли это, что торги снова закроются последним словом Теодора?

– Есть ли у присутствующих возражения? – спрашивает Генри, окидывая взглядом притихший зал. – Мистер Стрэйдланд?

Старик скрипит зубами так, что Теодор невольно думает, что его вставная челюсть за несколько тысяч фунтов просто вывалится у него изо рта. Какой был бы конфуз, какое приятное окончание вечера!

– Итак, если никто не отвечает…

– Двести семьдесят тысяч фунтов! – рычит вдруг Стрэйдланд, отвратительно краснея. Теодор закатывает глаза. Ох, этот падальщик снова пытается увести даму у него из-под носа!

Генри придерживает на лице вежливость и учтивость, хотя щеки подрагивают в плохо сдерживаемой улыбке.

– Мистер Атлас?

Теодор хмыкает, карие глаза впиваются в прямую, как доска, спину Стрэйдланда.

– Я…

Позади открываются и хлопают двери, чьи-то торопливые шаги приближаются к Теодору со спины, и, обдав его легким ароматом, – смесью пиона и мяты, – мимо проносится девушка.

– Ох, простите! – Звонкий голос сечет его по ушам, так что он застывает, будто врастая ногами в пол. – Прошу прощения, но там…

– Клеменс! – тревожно восклицает Генри.

Клеменс.

Клеменс.

Клеменс.

Имя впивается в Теодора сотнями стрел, усталое сердце застывает и ширится в грудной клетке, мешая вдохнуть. Это не может быть правдой.

Он смотрит в спину вошедшей женщины. Она оборачивается, чтобы мимолетно извиниться за неудобства.

На Теодора глядят зеленые глаза в обрамлении густых темных ресниц.

Мир под его ногами раскалывается на части, пол дрожит и трескается, рушится все, на чем держалось его мироздание.

Клеменс.

2. Ирландский виски со льдом

Ее тонкие губы приоткрываются и складываются буквой «О».

– Простите, что задела вас, – говорит она и снова отворачивается.

– Клеменс, – повторяет Генри. – Ты мешаешь торгам.

– Кое-что случилось в подсобке, у нас небольшой пожар.

Ее высокий голос раздражает. Дыхание перехватывает, дышать становится невыносимо: запах мяты и чего-то тонкого, едва уловимого – он как яд. Теодора мутит.

– Мне не хотелось тревожить почтенных господ, но, боюсь, у нас нет выбора, пап!

Вокруг Теодора растекается сердитое море голосов – тихих, но ворчливых, недовольных. Ему вдруг кажется, что он нырнул в морской прибой, и волны вот-вот кинут его, беспомощного, на острые выступы скал. На одну скалу. На девицу, решившую, что ей все дозволено.

– Клеменс, сейчас не время для твоих шуток. – Голос Карлайла словно впивается Теодору в самую грудь. Ему нужно выйти отсюда. Сейчас же. Сию минуту.

– Теодор? – Бен взволнованно смотрит на своего спутника, но Атлас не слышит. Он разворачивается и уходит, пересекает зал, направляясь к дверям так быстро, как только может. Уйти, сбежать от этого голоса, от этого имени, которого здесь быть не должно – не в этом времени, не в этом месте.

Клеменс. Клеменс.

Даже отзвук его – отрава. Оно звенит в ушах, пока Теодор пересекает пустующий банкетный зал, распахивает двустворчатые двери и идет через вестибюль к выходу. Мимо Ханта, Милле, Берн-Джонса и Морриса, чьи полотна – их точные списки с оригиналов, а не сами оригиналы, – украшают этот вечер в честь аукциона «Леди из Шалотт». Мимо обескураженного юноши-официанта и заблудившегося гостя в потрепанном пиджаке явно с чужого плеча. Теодор не может бежать – и хочет сорваться и унести свое тело и мысли из ставшей вдруг душной галереи, в которой сам воздух дрожит, как невольно потревоженная гладь полузабытого озера.

Теодор так долго скрывал его, что оно успело превратиться в болото и затянуться тиной.

Он врезается в тяжелые двери главного входа галереи и замирает, словно только что пробежал не одну милю. Дыхание сбивается, в горле сухо – Теодору трудно дышать, будто знакомо-незнакомое имя перекрыло ему кислород. Грудь тянет, а сердце колотится в нем, как рыбка в тесном аквариуме. И стук отдается в ушах отголосками прошлого.

Клеменс. Клеменс.

Сегодня никто в Англии не дает таких имен своим детям, мода на Францию прошла еще полтора столетия назад. Либо Теодор сходит с ума, либо Генри Карлайл старее, чем ему казалось.

Чтобы вытравить эти бредни из головы, Теодору понадобится только одно. Виски.

* * *

Если Теодора нет ни в гавани, ни на чердаке, ни в подвале антикварной лавочки среди старого хлама, облюбованного самим же Теодором, то его можно найти лишь в одном месте старого городка с населением чуть больше двадцати тысяч человек.

В баре «У Финна МакКоула-младшего».

Этому бару чуть больше десяти лет, он угловат и приземист, пропах всеми крепкими напитками сразу, а табачным дымом от него разит еще от поворота к Тревентан-роуд. Как и все ирландцы, он встречает гостей шумом и громким смехом, но в будние дни спокоен, и драки обходят его стороной. Пятничным вечером здесь конечно же нет свободных столиков, а спиртное льется рекой чуть ли не с порога. Но мистеру Атласу рады как своему в любое время.

– Виски! Двойную порцию!

Теодор хлопает крепкой ладонью по исцарапанной столешнице из когда-то приличного тиса и не глядя садится на высокий скрипучий стул. Бармен Саймон привычно кивает ему, прикрывая отсутствие левого глаза густой спутанной челкой.

– Бен ведь не велел тебе захаживать к нам без должной причины, – хрипло смеется он. В его руках крутятся два рокса, и тусклый свет ламп под старыми жестяными плафонами отражается от их блестящих граней.

– Бен ничего не смыслит в ирландском пойле, – отвечает Теодор. – И в должных причинах посещать питейные заведения.

Саймон хмыкает, пряча в кустистых пшеничных усах кривую ухмылку. Спустя одну шумную минуту, пока Теодор трет рассеченную шрамом бровь и теребит складку своего черного пальто, перед ним на стойку звонко опускается стакан с двойной порцией виски. Янтарная жидкость плещется в нем, оставляя на стекле неровные разводы.

Атлас не спешит выпивать. Вертит стакан в руках, наблюдает за танцем бликов на поверхности виски. Обычно разговорчивый Саймон, привыкший к угрюмому посетителю, сегодня отчего-то поглядывает на него с большим интересом.

Раз в неделю Теодор стабильно напивается. В остальные дни он не позволяет себе лишнего и, в отличие от многих своих соотечественников, обаятельных, шумных и до безобразия словоохотливых, всегда тих и молчалив. Он приходит по вечерам в пятницу и субботу, иногда заглядывает днем среди недели, садится за барную стойку вечно на один и тот же стул, заказывает стакан виски

или бренди, молча выпивает и уходит, оставляя щедрые чаевые. Саймон откладывает эти деньги в отдельный ящик и раз в три месяца устраивает закрытую вечеринку для себя, Бена и самого Теодора, ничуть не скрывая, за чей счет гуляет их троица. В такие вечера Теодор делается разговорчивее обычного и делится с Саймоном парой историй из своих странствий, а бармен запоминает их и тайком от самого рассказчика записывает в небольшой блокнот в кожаном переплете, который хранит под стойкой.

В остальные дни Саймон не видит Теодора и не знает, чем тот занимается, где живет и с кем делит вечера, но остро осознает одно: кроме него и Бена – пусть Бен и англичанин самых английских кровей – у угрюмого Теодора Атласа приятелей нет.

– Сегодня четверг, – замечает Саймон, не глядя на Теодора. Рокс в его руке поскрипывает, когда бармен в который раз проходится по нему грязно-белым полотенцем.

Вместо ответа Теодор делает первый глоток, разом опустошая полстакана, и с силой, будто сердится, бьет им о столешницу. Саймон хмуро окидывает посетителя взглядом и вновь возвращается к полировке стакана.

– Сегодня четверг, а ты здесь, – добавляет он. – Должно быть, веская причина побудила тебя завернуть сюда раньше обычного?

Теодор фыркает, так и не удостоив бармена ни ответом, ни вниманием. Его взгляд прикован к полкам за спиной Саймона – там стоят бутылки столетней давности. Они пусты и больше служат сборщиками пыли, чем украшением интерьера, но Саймон, испытывающий непонятную любовь к старинным этикеткам, не спешит от них избавляться.

Должно быть, благодаря этой странной симпатии к раритетам, редким витиеватым фразам, несвойственным простому ирландцу двадцать первого века, Теодору и пришелся по вкусу маленький бар и его хозяин.

Вечером четверга в баре «У Финна МакКоула» спокойно: в зале – компания из трех молодых мужчин и пара средних лет, а за барной стойкой – только Теодор и старик, местный завсегдатай. Саймон натирает бокалы и не сводит внимательного глаза со своего чересчур хмурого приятеля, но тот молчит.

Теодору есть о чем подумать, хотя бередить покрытое пылью прошлое совсем не хочется. Он запер его на семь замков в самом дальнем углу памяти, оставил за спиной, в темных покоях своего двухсотлетнего замка, и запретил себе вспоминать.

Господь, должно быть, он бредит.

За сорок восемь часов он спал только шесть. Его мозг не справляется с нагрузкой, сознание дает сбой, выдумывает фантастические образы. Должно быть, он спит на ходу и думает, что бодрствует. Должно быть…

Теодор опрокидывает в себя остатки виски, хлопает стеклянным дном стакана о столешницу. Саймон недовольно цокает языком, но Атлас не обращает на него внимания. Его мысли по спирали спускаются все ниже и ниже, прямо в потаенные уголки памяти, в те самые темные бездны, о которых он старался не думать.

Дочь Генри Карлайла не может иметь это лицо.

Черты ее лица растекаются по стенкам граненого стакана вместе с каплями янтарной жидкости, бледно-зеленые глаза тают на дне. Ее тонкие губы приоткрываются и складываются буквой «О».

У нее может быть такое же имя и даже цвет волос и глаз – мало ли среди миллиардов женщин найдется таких же темноволосых и зеленоглазых? – но те же черты лица эта девица иметь категорически не может. Не имеет права.

Ему показалось. Определенно, ему показалось. Мозг слишком устал и добавил к знакомому имени образ, который откопал в пыльных чертогах памяти, вместо того чтобы нарисовать Теодору новый.

Не самая умная мысль, как ни прискорбно, после второго стакана виски становится вполне сносной. Алкоголь все делает проще, запутанные причуды судьбы превращает в повороты, а не узлы на жизненном пути. И Теодор, отдаваясь во власть своему самому преданному другу, расслабляется.

Тогда его наконец находит Бен.

– Атлас!

Молодой человек пересекает полупустой бар, сердито топая своими черными лакированными туфлями с чересчур громкими каблуками, и замирает рядом. Теодор залпом допивает третий стакан под озадаченные взгляды Саймона.

– Стрэйдланд выкупил нашу «Леди»! – шипит Бен, слишком рассерженный, чтобы позволить себе громкие интонации. Когда Бен злится, он всегда переходит на шепот. – Ты слышишь меня?

– Так вот с какого бала сбежала эта Золушка! Вы были на аукционе? – добродушно хмыкает Саймон. – Помнится, в прошлом месяце вы клялись, что больше не сунетесь в… Как ты там говорил? «Гадюшник чванливой аристократии»?

– Это был крайний случай, – нехотя стонет Бен. – Но все без толку. Мы упустили Уотерхауса!

– Вернем.

Железная уверенность Теодора нервному Бену, увы, не передается.

– Мы ждали этого случая три месяца, а ты взял и слинял, когда она была почти в наших руках!

За злостью Бена кроется беспокойство, но Теодор, погруженный в свои мысли, не может этого уловить. Он не отвечает, жестом требуя очередной стакан. Бен скрипит зубами от праведного гнева и садится на соседний стул. Ножки грубо царапают дощатый пол, сердитый звук тревожит немногочисленных посетителей, но Бен плюет на правила этикета и даже не оборачивается.

– Какого черта, Теодор?

Тот делает вид, что не слышит. Бен вздыхает, силясь не хлопнуть себя по лицу ладонью, и просит у Саймона бокал вина.

– Объясни, что ты творишь!

– Смакую четвертый по счету стакан однозернового ирландского виски девятилетней выдержки, – не меняясь в лице, отвечает Теодор. – И, заметь, все еще нахожусь в трезвом уме и твердой памяти.

– Неудивительно – за твоими плечами десятилетия практики! – вспыхивает Бен.

Если в первые минуты после исчезновения Атласа он волновался, то следующий час, проведенный в поисках, лишил его даже толики волнения и оставил лишь злость на вечно угрюмого товарища, понять которого не смог бы никто в этом мире. Теперь он, абсолютно уверенный в своем праве, требует хотя бы самого малого. Ясно как день, что извинений от Теодора не дождешься.

– Что это было, а? Ты же сам из кожи вон лез, чтобы заполучить Уотерхауса, полгода его искал! Старик Стрэйдланд аж помолодел на десяток лет, когда забирал нашу «Леди» из рук Карлайла!

Теодор едва заметно морщится, и от Бена это не укрывается. Вот только связать реакцию приятеля с именем Генри он никак не может.

Бен хмурится и принимает из рук Саймона свой бокал. Гладкое стекло тут же потеет в ладонях, прикосновения пальцев неровными овалами отпечатываются на его поверхности.

Молодой человек делает первый глоток и наконец выпускает сгорбленную фигуру Теодора из внимания. Его глаза смотрят вниз, на переплетенные тонкие пальцы рук, лежащие на пепельно-бурой поверхности барной стойки.

– Объясни, – хрипло повторяет Бен, не глядя на собеседника. – Тебе придется это сделать, иначе я…

– Иначе – что? – хмыкает Теодор. – Сочтешь меня сумасшедшим?

Бен косится на него, не поднимая головы, и губы его кривятся в скептичной ухмылке.

– Не более, чем обычно.

Теодор неспешно делает свой последний глоток.

С наступлением темноты в маленьком неприметном баре появляются еще несколько посетителей. Подозрительно следящий за молчаливым Теодором и нервным Беном Саймон отходит к другому концу стойки, чтобы обслужить постоянных клиентов. Аккуратная официантка, до этого полностью погруженная в свой смартфон, нехотя идет к одиноко сидящему у окна мужчине лет сорока. Когда Теодор и Бен остаются без внимания посторонних, молодой человек звонко отставляет в сторону пузатый бокал.

– Ну и?

Прежде чем удостоиться ответа, ему приходится выждать еще минуту и взглядом просверлить в виске Теодора изрядную дыру.

– У Генри Карлайла есть дочь? – спрашивает Теодор. Толстостенный стакан в его руке крутится, как волчок.

– Серьезно? – вспыхивает Бен. – Тебя волнует какая-то девица, сорвавшая сделку? Мы отдали «Леди» Стрэйдланду – ты отдал! – А тебя волнует какая-то…

Он замирает с приоткрытым ртом, как будто только теперь до него доходит потаенный смысл слов Теодора. Глаза Бена расширяются от удивления.

– Погоди, что? У нас увели ценный лот, а тебя интересует девушка? О, это становится интересным…

Теодор щелкает языком и косится на беспокойного Бена так, будто видит перед собой надоедливого ребенка. Паттерсон подпрыгивает на стуле, глаза его горят.

– Я могу разузнать о ней побольше, – хитро улыбается он, едва сдерживая возбуждение, – если тебя так взволновала эта особа…

– Это тебя она взволновала, – припечатывает Теодор, уже жалеющий, что раскрыл рот в присутствии своего любознательного друга. – Смотри, не

выпрыгни из собственных брюк.

Бен издевки не замечает вовсе и оборачивается, выискивая глазами бармена.

– Эй, Саймон! Подлей мне еще вина! Кажется, мой одинокий рыцарь нашел себе даму сердца!..

Лицо Саймона удивленно вытягивается. Бен придвигается к барной стойке и барабанит по ней пальцами. Звук отдается в голове Теодора дробью – пять стаканов виски сказались на нем сильнее, чем он полагал.

«Старею», – невольно мелькает в его голове, но мысль тут же исчезает под градом противоречивых суждений, к которым он обращается всякий раз, когда организм, кажется, дает слабину.

Глупости. Старость в конечном счете заканчивается смертью, а ему такой радости, увы, не светит. Он никогда не постареет.

– Прекрати нести чушь, – вполголоса осаживает себя Теодор. Чуткий Бен принимает это на свой счет и тут же пускается в радостные рассуждения:

– Брось, когда ты в последний раз смотрел на женщину? Дочь Генри Карлайла, насколько я знаю, недавно закончила университет, и ты со своими паспортными сорока годами будешь, мягко говоря, староват, но я все равно твой порыв одобряю. Шутка ли, Теодор Атлас поинтересовался девушкой! Мне стоит обвести этот день в своем календаре как знаменательную дату, и праздновать каждый год, пока…

– Пока у тебя язык не отсохнет от чрезмерной болтовни! – огрызается Теодор. Слушать воодушевленного на пустом месте Бена становится невыносимо уже после его «погоди, что?», но он терпит, пока ему не начинает казаться, что его голова вот-вот взорвется.

– Позволь с тобой не согласиться, – цокает Бен, принимая из рук Саймона свой бокал. Его очки, прикрепленные одной дужкой к нагрудному карману пиджака, звонко стукаются о столешницу, но молодой человек не обращает на это никакого внимания.

– Сломаешь, – говорит Теодор. – Сколько очков тебе нужно разбить, чтобы отучиться от этой идиотской привычки?

– Ох, не ворчи, – отмахивается Бен. – Ты хуже старика Стрэйдланда.

Глядя на вино в его бокале, Теодор слегка морщится.

– Так в чем дело? – в который раз спрашивает Бен, очевидно, полагая, что количество вопросов рано или поздно доведет Теодора до сумасшествия, и тот как на духу выложит перед ним все свои тайны.

– Повелся на девицу Генри Карлайла, – передразнивает его Атлас.

– Очень смешно.

Бен фыркает и отставляет бокал.

– Если ты не заметил, я знаю тебя лучше всех в нашем мире, – говорит он, не преминув добавить голосу высокомерные интонации. – И шутки вроде этой со мной не прокатят, иди дури Саймона. Итак?

Глаза Теодора красноречиво намекают Бену, что их хозяин не намерен откровенничать. Возможно, он вообще не собирается рассказывать о причинах сегодняшнего странного поведения, и этот секрет будет похоронен в его личном шкафу среди прочих скелетов. Только Бен, сетуя на свое же упрямство, больше не желает смотреть, как его давний друг превращает себя в кладбище тайн, которые грызут его изнутри подобно болезни.

– Тебе придется рассказать мне все начистоту, – хмурится Бен, – если не хочешь выглядеть идиотом в глазах почтенной публики с аукциона. И если желаешь вернуть «Леди».

– Почтенная публика с аукциона может подавиться своим высокомерием и захлебнуться в собственных соках, – огрызается Теодор. Похоже, его хваленая выдержка наконец-то дает слабину.

– Не расскажешь мне, что тебя так напугало, и я не стану тебе помогать. – Но Теодор не замечает, насколько серьезен взгляд его друга. Он тяжело опускает голову на скрещенные руки и шумно выдыхает.

– Вот ведь проблемный ребенок.

Бен цыкает и отодвигает от мгновенно уснувшего Теодора его стакан. Похоже, разговор откладывается до завтрашнего дня. Эксперименты со сном и четыре двойных порции виски не пошли несносному упрямцу на пользу.

Бен встает со стула и подхватывает обмякшего Теодора под руку.

– Саймон! Поможешь мне впихнуть это тело в такси?

Вдвоем с барменом они вытаскивают Теодора из бара; его ноги волочатся по полу, а сам он что-то бормочет себе под нос. Бен не прислушивается, полагая это очередным бредом про проклятия, ведьм и смерть, но на сей раз Теодор повторяет имя.

– Клеменс… Клеменс…

I. Пороховой дым в тумане

Легкий ветер задувает с запада, гоня перед собой аромат осенних лежалых листьев. У самой земли пахнет прелым, но футом выше начинается слой влажного тумана, в который вплетается тонкими нитями гарь и – сильнее, но урывками, – пороховой дым.

Первое, что он чувствует, – земля, сырая и твердая, влажная от предрассветной мороси. Его затылок лежит в ворохе листьев, перемешанных с грязью, а тело наполовину сползло в яму. В спину болезненно упирается какая-то коряга. Он еле открывает один глаз – веко второго заплыло и отяжелело, его сложно поднять, а лоб над бровью саднит и немеет. Он хрипло втягивает ртом холодный воздух и чувствует, как тяжесть в груди отдается болью в ребрах.

Дышать тоже сложно.

Перед его взором – сплошное серое ничто: дым потухшего недавно костра, низко нависшие сизые облака, частый мелкий дождь, больше похожий на кокон из влажного воздуха, обволакивающий землю. Если бы он мог видеть левым глазом, то заметил бы на востоке пепелище – все, что осталось от той части леса, где вечером ранее прошел бой. Оно тянется уродливым черным пятном от огромной ямы в семь-восемь футов шириной и ползет вверх по склону. Должно быть, здесь был пожар.

Он глубоко вдыхает, заставляя грудную клетку подняться и опуститься, отмечая, как резкая боль молнией стреляет под ребра. Повернуть голову получается с трудом, все вокруг тут же опрокидывается вверх ногами и пляшет туда-сюда. Когда небо перестает крутиться с бешеной скоростью, а земля встает на свое место, он понимает, что встать все равно не сможет: ноги и правая рука не чувствуются вовсе.

Все болит, и кажется, что он прожил с этой болью не один день. Он с трудом открывает рот, чтобы застонать, и тут же осознает, что во рту у него сплошная пустыня, так что даже крик не может продраться сквозь пересохшее горло.

Ч-черт…

Проходит еще несколько мучительно долгих минут, пока он лежит неподвижно, рассматривая серое небо. Если запрокинуть голову, то можно увидеть темнеющий лес. Черные обгоревшие стволы деревьев тянутся вверх, впиваются в серые облака и теряются в тумане.

Он снова пробует встать и наконец поднимает себя над выгоревшей землей – она почти сухая, листья стали грязно-бурыми ошметками и смешались с пылью. Он подтягивается одной рукой, разминает вторую, чувствуя, как по телу разливается застоявшаяся кровь. Кажется, будто его мышцы натянули на канаты: каждое движение отзывается болью в руках и ногах, боль проникает в самые кости.

Он садится. Осматривает себя. На нем алый мундир с грязно-белыми обшлагами, измазанными кровью. Его ли? Он хмурится, когда перед глазами снова все плывет и меркнет на несколько беспокойных ударов сердца. Осторожно

поднимает здоровую руку, прикасается к опухшему глазу. Похоже, ему изрядно досталось.

Стертые посеребренные пуговицы по борту мундира блестят в слабом утреннем свете, когда он, превозмогая странное натяжение мышц, поворачивается, чтобы оглядеться.

Позади него чернеет дрожащий в тумане лес, справа деревья дугой огибают вытоптанную поляну с изрытой землей, черно-серой от сгоревшей листвы и пепла. Влажный воздух шлейфом тянет за собой по ветру что-то… соленое?

Он сидит на краю широкой прямоугольной ямы глубиной в несколько футов, такой, что с его места не видно дна. Онемевшие ноги свисают вниз и пятками упираются во что-то мягкое. Рыхлая земля?

Он с трудом наклоняется, чтобы заглянуть вниз на свой страх и риск, ведь голова все еще кружится, а слабое сознание норовит покинуть тело и сбросить его в эту самую яму. Но он прижимает здоровую руку к ребрам, чтобы ослабить хватку беснующейся внутри боли, и заглядывает за край…

Чтобы тотчас же с ужасом откинуться на спину и, разинув рот, глухо вскрикнуть от страха.

Внизу, прямо под ним, в яме лежат бледно-краповые мундиры с грязными обшлагами и затертыми пуговицами в рваных петлицах. Внизу, под ним, тела убитых солдат в такой же, как у него, форме.

Их много. Они наполовину присыпаны черной землей, и белые мертвые лица выделяются на ее фоне яркими пятнами, которые отпечатываются на обратной стороне век, когда он от страха закрывает глаза. В его воображении красные мундиры превращаются в кровавые реки.

Он старается взять себя в руки и успокоить бешеное сердцебиение, от которого больно. Дыхание, и без того неровное, сбивается, дышать становится тяжело, и в пересохшем горле он вдруг ощущает солоноватый привкус крови. Ему нужно успокоиться.

Отекшая рука плохо слушается, но он все равно опирается на нее и вытаскивает онемевшее тело из ямы, в которую, похоже, судьба настойчиво его сбрасывала. Его бьет озноб – от страха ли, от холода или боли, сковывающей ребра и мешающей свободно дышать.

Надо взять себя в руки. Он жив и не покоится на дне общей могилы – несомненно, это солдатская могила, а ему просто повезло не оказаться в числе мертвых. Он жив – и это уже чудо. Осталось только вспомнить, как он тут оказался.

Он сидит на краю погребальной ямы, морщится от боли и силится вернуть себя в момент, который предшествовал его пробуждению. Это была поздняя ночь, в лесу было гораздо темнее, а лица солдат, ныне покойных, подсвечивались пламенем нескольких костров. А он был…

Он был…

Он…

Он старается вспомнить, что делал и где находился, прежде чем очнуться здесь среди мертвецов, но в голову, похоже, проник лесной туман, который не дает теперь заглянуть во вчерашний – вчерашний ли? – вечер. Для него все сокрыто, и как он ни силится отогнать серую пелену, она не уходит.

Когда его сердце от страха делает очередной кульбит, и больные ребра на миг сжимаются, он решает оставить убийственные попытки. Если не удается вспомнить только что минувшие события, надо отойти еще на несколько шагов назад.

Что было до ночи в лесу? Что последнее он помнит?

Он облизывает сухие потрескавшиеся губы, проглатывает соленую от крови слюну. Моргает, уставившись на свои дрожащие руки. Мозоли на костяшках желтыми пятнами выделяются на его бледной коже, под ногти забилась земля. Что последнее он помнит?

Это становится невыносимым. Память не поддается ему, она ускользает, едва кажется, что ответ уже найден. Он ловит дым голыми руками и в итоге сам оказывается в дыму. Он ничего не видит, не слышит. Не помнит.

Как он оказался здесь? Он не помнит.

Откуда он пришел? Он не помнит.

Что произошло в этом лесу?

Что с ним случилось?

Какой сейчас год?

Как его зовут?

Сколько ему лет?

Он стискивает руками голову и надрывно сипит, не замечая боли. Его мысли, его воспоминания скрываются за плотной серой пеленой, похожей на этот день, единственный день, который он узнает.

Внезапно тела солдат в могиле, холод, боль становятся бледными и незначительными отголосками на фоне мрачной неизвестности, что нависает над ним и грозится разрушить само его существование.

Кто он такой?

* * *

Туман рассеивается ближе к полудню. Сквозь облака пробивается неяркий солнечный свет. Когда солнце оказывается в зените, он уже плетется вдоль кромки леса, обходя пугающую поляну. Ноги несут его в ту сторону, откуда дует влажный ветер, и он не сопротивляется.

Хочется пить, хочется есть. Хочется знать, что с ним и кто он.

Он несколько раз спотыкается и падает, прежде чем углубляется в лесную чащу. Странно, что здесь не слышно ни птиц, ни шорохов листвы. Этот лес словно умер днем ранее, когда в самом его сердце неизвестные подожгли поляну, обрекая деревья на смерть от огня, и вырыли глубокую яму, чтобы бесчеловечно скинуть в нее многочисленные тела погибших.

Он помнит, как шумели опадающие листья, как в воздухе гремели выстрелы. Они до сих пор эхом звенят в его ушах, когда он поворачивает голову. Если он пытается вспомнить что-то, кроме звуков, то натыкается на стену, столь же призрачную, сколь и плотную, сквозь которую нельзя ничего проглядеть.

Если он не помнит своего прошлого, то… Как это называется? Отчаяние?

В его памяти не осталось ни имени, ни лица. Господь, он даже не знает, как выглядит.

Под ноги ему попадается кривая коряга – выступающий из земли корень ясеня. Он запинается и падает. Ребра тут же отзываются резкой болью, которая стискивает грудную клетку и легкие. Из распахнутого рта на выставленную вперед руку падает капля полупрозрачной крови. То ли он прокусил язык, то ли это из горла или легких. Печени. Желудка?

Как хочется есть.

Он с трудом поднимается и, покачнувшись, опирается на ствол дерева. Грубая кора кажется такой же высохшей, как кожа на его пальцах. Он скребет по стволу ногтями, пока в груди унимается бьющееся, как в клетке, сердце. Еще немного. Осталось потерпеть еще немного, и ноги сами выведут его из леса.

Он даже не знает, куда идет, – просто движется, несомый собственными негнущимися ногами. Хорошо, что хотя бы они целы.

Сквозь гулкий стук крови в ушах он вновь слышит мерный шум. Там, впереди, куда он стремится, что-то шумит. И это не лес.

Он делает еще шаг, оттолкнувшись рукой от ствола ясеня. Дерево остается за его спиной. Он идет дальше.

Лес редеет спустя полсотни его нетвердых шагов, в глаза бьет резкий луч солнца. Он закрывает лицо одной рукой, другой обнимая себя за ребра, и не замечает небольшого склона, покрытого густой травой. Нога шагает в пустоту, и он валится вперед лицом, выпадает из лесного плена.

В нос тут же бьет резкий запах хвои, лапы можжевельника смягчают удар. Он оказывается на зеленой луговине. С одной стороны высится немой лес, с другой – обрыв. И оттуда он слышит тот самый шум, который чудился ему ранее. Словно что-то размеренно приближается и отдаляется.

Сипло дыша, он приподнимается на локтях и проползает несколько футов, сдирая ладони. Земля под можжевеловой подушкой мокрая, сам воздух тоже настолько влажный, что его хочется выпить. С нескольких веток он слизывает некрупные капли, пробует их на язык. Соленые. Если они такие соленые, то он рядом с…

Морем?

Догадка становится ответом, когда он подползает к краю и видит внизу, в десятке футов от себя, серо-зеленый берег. Волны беспокойно наползают на него вместе с пеной, и та шипит, оседая на мелкой гальке.

Он лежит животом на склоне, который заканчивается резким обрывом фута в три высотой. Внизу тонкой светлой полосой раскинулся берег. Туда можно спуститься по тропинке, что виднеется правее, или скатиться прямо здесь и сломать еще пару ребер.

От жажды, голода и усталости у него снова кружится голова – а может, виной тому высота. Он переворачивается на спину, запрокинув голову к небу, и остается лежать неподвижно. У него мало сил, и он готов умереть за глоток пресной воды. Или за знания о себе.

Совершенно ясно, что у берега ответов он не найдет. Возвращаться на обгоревшую поляну ему совсем не хочется. Но лежать здесь, ожидая смерти, он тоже не может.

Если он выжил – один из многих – значит, судьба приготовила ему иной путь.

Знать бы еще какой.

Он вновь садится, игнорируя головокружение; темная кромка леса прыгает перед глазами и поворачивается в разные стороны, так что в какой-то миг оказывается внизу, а бледно-зеленая луговина – вверху. Он раздраженно зажмуривается и моргает.

Нужно привести себя в порядок. Чтобы узнать хоть что-то, ему понадобятся силы. Еда. Вода. И ребра, не грозящие на каждом шагу проткнуть внутренние органы.

Откуда-то он знает, что они сломаны. Единственное, чему он может сейчас доверять, – это его собственное тело, и оно явно вопит о помощи не первый час. Смущает его только то, что он знает, что это называется переломом. Откуда ему это известно? Откуда в его голове такое знание?

Когда он поднимается, его пугает и другое. Руки сами все делают. Он стягивает с себя красный мундир – на правом его плече зияет дыра, а воротник заляпан кровью, – обнаруживает под ним тонкую суконную рубаху, заскорузлую от высохшего пота. Ее с трудом удается снять, чтобы взглянуть на себя и удостовериться: ребра сломаны. На правом боку под грудью разливается красно-фиолетовое пятно, он трогает его пальцами и чуть не взвывает от боли. Чтобы наложить повязку, ему не хватит одной только рубахи.

Он стаскивает с себя сапоги и штаны. Плотные, из некогда белого сукна. Их можно порвать на несколько длинных лент.

С этим приходится повозиться. Руки его не слушаются, а рядом не оказывается ничего острого, так что он мучается со штанами около получаса, прежде чем получает из них четыре длинных повязки. Он знает, что наложить самому себе шину будет сложнее, чем пройти еще хотя бы одну милю, но другого выхода у него нет.

Откуда-то ему известно, что бинтовать сломанные ребра нужно на выдохе. Откуда-то знакомы усилия, с которыми он утягивает себя в корсет. Лучше всего перекинуть повязку через плечо, чтобы она не сползла при ходьбе. Сделать узел получается только с третьего раза, он стискивает зубы и стонет, на лбу

проступает пот, но в конечном счете он справляется.

Теперь грудь болит не так сильно, и он может дышать ровнее.

Непригодившуюся рубаху он натягивает обратно и хочет уже накинуть сверху мундир, чтобы не так мерзнуть, когда слышит откуда-то справа частый глухой стук. Словно кто-то бежит.

Лошадь.

Он вскидывает голову и щурится в попытке разглядеть приближающихся: на фоне сизого неба темной точкой, которая увеличивается с каждой секундой, появляется лошадь. Она бежит неспешной рысью, везя за собой телегу и двоих мужчин.

От внезапной радости у него подкашиваются ноги, но он остается стоять и поднимает руку. Боже милостивый, пусть его заметят!

Они видят его, только когда между ними остается всего футов пять. Оба рыжие и вихрастые, в одинаковых серых свитерах с орнаментом на воротниках, похожие друг на друга, но с разницей в десяток лет. Братья? Отец и сын?

Он прикладывает ладонь козырьком ко лбу, чтобы загородить солнце, и поднимает голову. Мужчины хмуро смотрят на него сверху вниз.

– Каким ветром тебя сюда занесло, приятель? – спрашивает тот, что помоложе, гнусавым шипящим голосом. Оглядывает его и присвистывает в темно-рыжую бороду. – До ближайшего селения мили три!

Он хочет ответить, но открывает рот и только сипит – звуки трескаются в сухом горле и осыпаются пылью. Мужчина постарше понимающе фыркает.

– Держи, приятель, выпей-ка!

К нему летит жестяная фляга. Он ловит ее одной рукой, вторую неловко прижимая к раненому боку, и нетерпеливо отвинчивает крышку. Пальцы не слушаются. Скорее, скорее! Наконец он делает один большой жадный глоток из

узкого горлышка – во фляге не вода, слишком маслянистая, пахнет спиртом, – но он сглатывает, смачивает горло. И тут же чувствует, как в сухие его трещины заползает настоящий огонь.

– Чт-то это?! – хрипло кашляет он и чуть не роняет флягу. Мужчины в голос смеются.

– Прости, приятель, у нас с собой только забродивший виски! Недалеко собрались, воды не взяли. Но лучше, чем из океана хлебать, а?

– Лучше, – соглашается он. Оказывается, у него низкий голос. И говорит он тихо, но отчетливо, с каким-то надломом. Не так, как эти двое.

Он делает еще глоток. Горячая жидкость стекает по горлу прямо в пустой желудок и обволакивает изнутри теплом. Скорее бы ноги отошли, иначе он заледенеет и умрет от простуды раньше, чем разыщет себе новую пару штанов.

– Ты откуда будешь? – спрашивает тот, что постарше, оглядывая его с головы до пят. Вместо бороды его лицо украшают толстые крученые усы – светло-рыжие, блестящие на солнце редкими седыми прядями.

Он мотает головой.

– Не… – Неокрепший голос ломается в начале фразы, и ее вовсе не хочется договаривать. Но он делает над собой усилие, чтобы продолжить: – Не знаю.

– Да ну? – Младший подозрительно хмыкает и пихает старшего локтем под ребра. – А звать тебя как?

Все вокруг превращается в жалкое зрелище. Фарс. Словно его втянули в глупое представление, не объяснив роли.

– Я не знаю, – отвечает он. И чувствует себя так беззащитно, словно стоит совершенно голый у берега моря, названия которого не помнит. Как не помнит себя и своего имени.

– Брешешь все! – восклицает младший. Брат – или отец – осаживает его, вскидывая морщинистую ладонь.

– Полно, будет, – усмехается старик, шевеля усами. – Не видишь разве, человека контузило? Наверняка, и родную мать позабыл после такого… Кто тебя так приложил, приятель?

Он непонимающе хмурится, трогает рукой рассеченный лоб. Ах, это…

– Вы не удивляйтесь, – говорит он, – я не…

– А, не знаешь, ясно, – кивает старик. Младший не сводит с него сомневающегося взгляда, но он прекрасно понимает, что подобной реакции стоило ожидать. Он отдает флягу старику и пытается благодарно улыбнуться или хотя бы сказать доброе слово. Глоток огненной жидкости все же лучше, чем ничего.

– Я Конрад, – заявляет старик. – Это мой сын, Дугал. Мы едем обратно в Тра-Ли. Можем подсобить. Тут пешком еще три часа ходу, а ты, я вижу, без штанов. Так и мальца потерять недолго. Что смотришь? Между ног у тебя звенеть будет, коль отморозишь на таком ветру!

Конрад смеется хриплым картавым смехом, так что он тоже невольно кривит губы. Дугал молчит.

– Садись-ка с нами. Дорога долгая, по пути вспомнишь свое имя.

Он радостно кивает, все еще не доверяя собственному голосу.

– Сейчас. Спасибо.

Поднять с земли потертый мундир удается с трудом. Он мог бы и оставить его на берегу, но алое сукно – единственная его связь с прошлым, каким бы оно ни было, и без мундира ему вряд ли удастся отыскать свое имя среди других солдат, живых или мертвых. Откуда-то он помнит, что на пуговицах и галунах должны быть опознавательные знаки его полка.

– Спасибо, – еще раз для верности повторяет он, когда хочет забраться на телегу. Мундир он бросает назад, на дрова, а старик подает ему руку. Дугал вдруг делается бледнее морской пены у берега.

– Отец… – тянет рыжий.

Он невольно вскидывает голову, чтобы заметить, как звереет лицо его младшего спасителя. Глаза Дугала леденеют, пальцы рук сжимаются в кулаки, и весь он съеживается.

– Отец, этот из мундиров…

И тут старик тоже замечает покрой его формы.

II. В сердце Тра-Ли

– Да ты же английская псина! – восклицает Конрад, мгновенно отнимая протянутую руку. Не удержавшись, он падает на землю спиной, и боль от удара простреливает ему грудь. Он кричит, а Конрад и Дугал соскакивают с телеги, и их лица не предвещают ничего хорошего.

Они смотрят на него с ненавистью, будто кто-то в мгновение ока сменил в их мироздании черное на белое, а хорошее – на плохое. Вежливого дружелюбия как не бывало, улыбки пропали, исчезла даже некая настороженность. Алый мундир сдернул с их лиц маски, оставив голую злость.

– Что, думал, мы не заметим? – цедит Дугал. – Думал, ирландцев так легко провести?

Он не может встать – ноги будто отнялись, он их не чувствует. Рыжие и одинаково злые, отец и сын наступают на него, так что ему приходится отползать, сдирая кожу ладоней о колючую щетинистую землю. Неприметная дорога скрыта под сухой травой и тонкой нитью вьется на юг, но сгорбленная спина Конрада закрывает последний путь к отступлению. Он не знает, что делать.

– Послушайте!.. – хрипло восклицает он, все еще чувствуя, что говорит с трудом, что голос крошится и ссыпается вниз по горлу колким песком. – Я не понимаю, о чем вы…

– Врешь, ублюдок! – шипит Дугал и хватает его за воротник липкой от пота рубахи. Крепкие загорелые руки вздергивают его над землей, и он снова кричит. Боль простреливает ребра и мчится вверх по телу, заполняя собой все нутро. Ему почти нечем дышать. Снова.

– Отвечай! Что ты задумал, английская мразь? – Дугал склоняется над ним и так орет, что закладывает уши. Слова плевками летят ему прямо в лицо. – Вы сожгли наши леса и убили сотни людей, что еще вам нужно от нас?!

В какой-то момент он понимает, что перестал видеть – боль подернула все вокруг красной пеленой, биение крови заглушило звуки.

– Дугал… – Где-то за пределами всего этого шума голос старика кажется ему провидением, потому что Дугал отпускает его, но он падает и снова впивается лопатками в твердую землю. Кажется, сломанные кости разрывают мышцы, и он стонет, не умея совладать с собой.

Он ничего не сжигал. Он никого не убивал.

Господь, ему так плохо, так больно…

– Прошу вас, я ничего не делал… – Первая волна боли стекает к его ногам. Он часто моргает, заслоняясь рукой от солнца. Фигуры Дугала и Конрада темными силуэтами возвышаются прямо над ним. – Прошу вас…

Конрад смотрит ему в глаза.

– Прошу вас!..

И что-то в нем меняется. Старик тянет сына за руку, пытаясь оттащить, но тот снова срывается.

– Ты один из мундиров! Этого достаточно, чтобы тебя камнями забить!

Дугал шагает ближе – перекошенное от злости лицо, ржавая борода скрывает изогнутый кривой дугой рот – и замахивается на него огромным кулаком. Он закрывает лицо одной рукой, пока вторая стискивает рубаху с прорехой на боку, из-под которой торчит сползшая повязка.

– Я не понимаю, о чем вы говорите! – кричит он, не стыдясь своего страха, – как можно его скрывать, когда он, беспомощный, сломанный, не может ответить? Он ничего не понимает и не знает, он не помнит даже собственного имени… В чем он провинился?

Дугал рычит. Его кулак страшен, но ирландец вдруг передумывает.

И с силой опускает на него огромную ногу в тяжелом сапоге. Прямо на грудную клетку. Локоть свободной руки впивается в левый бок, ребра ползут вправо, а сапог Дугала давит, давит, и – внутри него что-то оглушительно лопается.

Он захлебывается воплем.

– Английская мразь! – громко повторяет Дугал, но он не слышит его из-за собственного крика, за которым даже шум океанского прибоя кажется незначительным. Где-то вдалеке ему надоедливо вторят чайки.

– Дугал!

Дугал убирает ногу, заносит вновь. Второй удар приходится прямо в бок, и он так кричит, что, кажется, выплевывает легкие прямо на сухую пыльную землю. Крови во рту становится слишком много, он задыхается, кашляет, стонет. Плачет. Слезы текут из его глаз ручьем, он не может их остановить, он не замечает их. Слишком больно, слишком…

Дугал бьет еще раз. И еще.

– Дугал! Остынь!

Старик тянет к себе рассвирепевшего сына, и тот убирает ногу.

Легче не становится. Мысли верещат громче крика: что он сделал?! За что его наказывают?!

– Ты убьешь его, – злобно произносит Конрад. – Хочешь марать ноги в крови калеки? Посмотри на него, он же еле дышит!

Дугал плюется, и рычит, и дергается из рук отца. Его голос все больше похож на булькающий рев, слова сливаются в единый звук.

Он не разбирает ни странной речи Дугала, ни слов Конрада. Его кости раздроблены, все его тело стало мешком мышц без опоры. Он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже губами. Заплывший глаз щиплет от слез, и ему хочется кричать в голос.

Но он едва открывает рот.

– Я не анг… англичан… нин.

Длинное слово нехотя складывается из рваных звуков, только эту кашу ирландцы не разбирают. Они стоят в стороне и спорят, кричат друг на друга, бурно жестикулируя. Он с трудом поворачивает голову, и горизонт плывет перед его взором. Опять.

Словно кто-то свыше поставил этот день на колесо и спустил с горы – колесо катится, события повторяются одно за другим, одно за другим. С каждым разом ему все больнее, сложнее воспринимать действительность такой, какая она есть.

Может быть, он умер там, в лесу, среди таких же солдат в красных мундирах, и теперь всевышний раз за разом прогоняет его через предсмертную агонию?

Что он сотворил такого, что судьба посылает ему столько боли и неизвестности вместо простых ответов?

– Мы возьмем его в город, – доносится до него последняя фраза Конрада. Старик настаивает на этом решении, а он думает, что ему будет легче, если его убьют прямо сейчас.

– Зачем он нужен в Тра-Ли? – рычит Дугал, выплевывая вопрос как ругательство. От злости его голос делает со звуками что-то странное – стискивает их, выжимает, так что те шипят и беснуются в его рту.

– Пусть честные люди его судят, не мы! Посмотри на него, Дугал, быть может, ты избил невиновного!

Они оборачиваются. Отец смотрит на него озадаченно, все больше робея, сын – зло, с ненавистью, и он хочет сказать, что невиновен, что все это ошибка. Он тяжело дышит и сквозь каждый поверхностный вздох цедит из себя по слогу:

– Я не… анг… ли… ча…

– Ты урод! – восклицает Дугал. – Вы все убийцы, марионетки безумного короля!

– Дугал!

Ирландец плюет ему прямо в лицо и, сбросив с плеча руку отца, отходит обратно к телеге. Старик смотрит на него, и по его лицу нельзя понять, о чем тот думает. Но ему кажется, что Конрад верит.

Он не убийца. Он не убивал солдат в лесу. Он не жег лес.

Дугал возвращается – такой же злой, но в его взгляде теперь сквозит что-то, граничащее с безумием, о котором упоминал ирландец.

Ему становится страшно. Еще страшнее, чем прежде.

– Свяжем его, – бросает Дугал. В его ладонях лежит крученая веревка толщиной с палец. – Отвезем в город. Как ты хочешь.

От этих слов его бросает в жар. Он не может пошевелиться, все его тело и без того превратилось в сплошное месиво, он не выдержит связанных рук и ног. Пусть уйдут и оставят его здесь, пусть забудут о нем, пожалуйста…

Молитвы оказываются тщетными – Дугал хватает его за разодранный ворот рубахи, встряхивает – он не издает ни звука, боль отняла все силы, – и поднимает с земли, будто он не весит и двадцати фунтов. Небо и земля прыгают перед его помутневшим взглядом.

И резко сменяются почерневшими дровами в телеге. Колючие, твердые, они упираются ему в щеку, в шею, в криво повернутую грудь, в вывернутый бок. Он лежит лицом вниз, пока Дугал скручивает ему руки.

– Он и без веревки никуда не сбежит, – слышится голос Конрада. Теперь старик точно оставил злобу, в его словах звучит только опасение. – Ты переломал ему все кости, он никуда не сбежит. Оставь его так.

Вместо ответа Дугал затягивает узел на его запястьях, и сквозь стон он слышит очередной хруст. Если он так слаб, зачем его связывают?

– Ты решил, что доставить в город мундира будет правильно, – выплевывает Дугал. – Мы доставим мундира. Связанного, как положено.

Ему хочется кричать от боли, обиды, злости, страха – всех обостренных чувств сразу, сплетенных теперь в такой тугой клубок, что его не распутает и время.

Он даже не подозревает, каким предзнаменованием окажется эта мысль.

Все, что он может, это беспомощно лежать в подпрыгивающей на каждой кочке телеге и прятать постылые слезы в алом сукне злосчастного мундира.

* * *

Многообразие звуков Тра-Ли наводняет слух, как океанский прибой. Треск колес телеги, размеренный стук молотков, ржание лошадей, грубые, низкие, звонкие, яркие, глухие, громкие голоса горожан. Все сливается воедино и становится общим гвалтом, который расслаивается на разные звуки, если оказываешься в самом его центре.

Он приходит в себя, когда совсем рядом раздается удар тяжелого молота – телега Конрада и Дугала остановилась у кузницы. Грузный человек с густой

черной бородой ворчит над их лошадью.

– Она у вас все ноги отбила. Нельзя с животиной обращаться так, амадан[1 - Дурень, балбес (гэльск.)]! Что вы с собой привезли, что она подкову по дороге потеряла?

– Дрова.

Он слышит злой голос Дугала, от которого кровь тут же стынет в жилах. Мгновенно возникает желание сползти с телеги и спрятаться, но он не может пошевелиться, тело его не слушается – оно будто ему не принадлежит. Бок разрывается от боли, трудно дышать.

Он пытается сдвинуть узел на онемевших запястьях, чем только причиняет себе еще больше неудобств, и невольно стонет.

– Что там у вас? – слышит он подозрительный голос кузнеца. Старик Конрад ворчит, Дугал перебивает его раньше.

– Приходи через полчаса на базарную площадь – увидишь.

Его прошибает пот. Он лежит лицом на дровах, высокие борта телеги скрывают его от любопытных взглядов, голых ног снаружи не видно. Никто не увидит его, и даже если он будет звать на помощь – никто не придет.

Телега трогается с места, поленья приходят в движение, стискивая его шею и плечи. Он бережет глаза от мелкого сора, пряча их в мундире. От сукна пахнет дымом, хвоей и грязью, от него самого – потом, слезами, кровью. Что с ним сделают, когда телега остановится? Зачем его везут на площадь?

Странно, но он помнит, что такое площадь. Она для публичных выступлений. Наказаний. Казней. Для всего, чего он бы хотел избежать. От мыслей об этом его бросает в еще большую панику, хотя объяснить ее он не смог бы и после часа раздумий.

Когда телега останавливается, город становится еще громче, словно все его улицы с домами и людьми стекаются на городскую площадь, пахнущую людским

потом, пылью, лошадьми и травами из лавки с подветренной стороны. Обостренным от ужаса слухом он подмечает даже скрип дверей таверны и крик продавца рыбой в самом начале улицы, которую Дугал и Конрад угрюмо миновали. А еще – детский смех на углу, где стоит коробка кукольного мастера, завывания торговки, блеяние нескольких овец, идущих на поводу дряхлого старика. Все шумит, движется и живет отдельным миром, пока Дугал не стаскивает его с телеги, грубо покрикивая:

– Тащи сюда свою голую задницу, сасеннах[2 - Англичанин (гэльск.)]! Сейчас-то мы посмотрим, как сильно тебе память отшибло!

Он падает с телеги прямо на землю: ноги его не держат, руки занемели, в бок будто вогнали железный крюк. Он почти ничего не соображает – так сильно кружится голова и так все переворачивается перед глазами и тускнеет, несмотря на яркий солнечный свет.

– Вставай! Или я втащу тебя на помост за твои кривые ребра!

Ему приходится подчиниться: встать, превозмогая боль, стиснуть зубы и шагнуть в сторону высокого дома с черной облезлой дверью, над крыльцом которого видна большая серая вывеска. Буквы на ней сливаются с витиеватым узором, и прочитать их он не может.

Прямо перед домом – невысокий деревянный помост с прогнившими досками. На нем чернеет несколько крупных пятен, и он не хочет знать, что это такое.

Дугал сжимает узел на его запястьях и толкает в сгорбленную спину. Он спотыкается и стонет, на вымощенную булыжником улицу капает алая кровь.

Он умрет здесь? Так и не узнав ни своего имени, ни лица?

– Дугал, постой! – кричит старик. Его сын плюет в сторону, ругается и не собирается останавливаться. Вдвоем они поднимаются на помост, ирландец дергает его, как собаку на привязи. Когда его разворачивают лицом к площади, он едва ли понимает, что происходит.

Все вокруг шумят. Весь город гомонит, ругается, смеется, все пульсирует, как живой организм, словно сам город – огромный зверь. Он стоит в самом центре и ждет, что тот вот-вот почует чужака и выплюнет, как заразу.

Несколько пар глаз видят его, несколько людей замирают и ждут… чего? Расправы? Словно все они давно ждали чьей-то нелепой смерти и наконец дождались.

– Слушай, Тра-Ли! – громогласно кричит Дугал, дергая его за руки. Он их не чувствует, да и ноги его не держат – он виснет на ирландце, связавшем его, как собственную добычу.

– Дугал, отведи его в дом судьи, – сердито говорит Конрад. Подняться на помост вместе с сыном он не решился и теперь наставляет его снизу. Дугал не слушает.

– Я привез вам мундира! – кричит ирландец.

К помосту стекается базарный народ, дети перестают забавляться с куклами и бегут посмотреть на преступника, словно это развлечение лучше прочих.

– Мы перебили всех, пришедших к нам с севера, но этот оказался дезертиром, сбежал из леса и скитался по окраинам!

Он впервые об этом думает. Сквозь боль во всем теле чувствует негодование: у него не было времени даже понять, что он делал в лесу и почему не погиб с остальными!

– Мы с отцом нашли его в таком виде, когда он хотел обманом пробраться в наш родной город! – распинается Дугал. Его крик становится все громче. Он разносится над площадью, и все остальное вскоре стихает: люди стекаются к помосту и смотрят на ирландца и его пленника, как на забаву.

Он опускает голову, чтобы не видеть издевки на лицах, и взгляд впивается в алый мундир – Дугал набросил его ему на плечи, как доказательство. Похоже, красное сукно вызывает в мыслях этих горожан такую ненависть, что ничего другого им и не требуется.

– Что мы с ним сделаем? Закуем в цепи и бросим гнить в тюрьме?

Люди начинают шептаться, кто-то одобрительно вскрикивает. Он стискивает зубы, чтобы не завыть от бессильной злобы на потеху Дугалу и остальным.

Он не сделал ничего плохого, ничего, за что его можно наказать так жестоко!

– Или… – Дугал вздергивает его связанные руки до очередного хруста в костях. – Забьем плетьми прямо здесь?

На этот раз горожане шумят громче. Он разбирает в общем гвалте сердитый голос старика Конрада, но тот больше не имеет власти над разбушевавшимся сыном. Дугал тоже слышит возгласы одобрения, и в тот же миг его пленник оседает, потому что его больше никто не держит.

– Прекрасно, – говорит Дугал плоским голосом, не предвещающим ничего хорошего. – Тебя ждет сотня плетей, сасеннах!

Он знает, что это больно. За свою недолгую памятную жизнь – этот нескончаемый день – он и так прочувствовал на себе слишком много, чтобы бояться еще и плети. Но, кажется, их он не выдержит.

– Прошу вас… – стонет он в угоду радующимся горожанам странного города Тра-Ли. Он решил, что не станет кричать и умолять о пощаде, но теперь готов сказать что угодно, чтобы избежать еще большей боли. – Пожалуйста, прошу вас…

Дугал возвращается на помост, громыхая тяжелыми сапогами. Ему на миг кажется, что для грузного ирландца держать в руках плеть и избивать раненных – не впервые.

Были ли все его пленники невиновными?

Он лежит, скрючившись на деревянном помосте под безликим бледным солнцем, и силуэт Дугала вновь загораживает ему небо. Теперь в руках у него не веревка, а тонкая длинная плеть, которая рассекает воздух с противным свистом. Он боится его.

Дугал заносит над ним руку под рокот толпы. Он закрывает глаза.

Пусть он потеряет сознание. Пусть даже умрет, не узнав себя, если это избавит его от позорного наказания и боли.

– Сейчас ты поплатишься за все горе, что причинил твой народ моему, – шипит Дугал.

Тонкая плеть рассекает воздух.

Его сердце пропускает удар.

– Стойте!

И тут же снова стучит, норовя вырваться из кривой грудной клетки.

Сперва он чувствует легкий аромат полевых трав – кажется даже, что воздух наполняется влагой и солью, словно он вновь лежит у океанского берега, – а потом слышит легкий перестук каблуков. На помост к нему и Дугалу вскакивает пара ног, скрытых плотной сиреневой юбкой в пол.

– Конноли, прекрати это! – К ногам и юбке добавляется высокий женский голос. Он взвивается в напряженном воздухе и рассекает недовольный гомон толпы, как молния – грозовую тучу во время бури.

Смелой женщине кричат:

– Уйди, травница, и без тебя здесь бед не оберешься!

– Ты препятствуешь правосудию!

Он чувствует, как деревянные доски под ним дрожат от сердитого перестука легких ног. Пахнущая травами женщина загораживает его подолом своей широкой юбки.

– Это не правосудие, это варварство! Если он виновен в смертях ирландцев, отведите его к судье Хили!

Ее словам никто не внемлет. Дугал рычит, хватает женщину за локоть и хочет согнать с помоста, но она упирается и визжит. Толпа бунтует вместе с ней – против нее. Сам воздух вокруг помоста дрожит и сгущается, будто стискивая виновника в плотное кольцо негодования и неприязни.

– Что за крики в базарный день! – грохочет откуда-то сверху низкий голос. К нему обращаются сразу несколько горожан.

– Судья Хили! – кричит женщина-травница. – Остановите это безумие!

Голос судьи, незнакомая женщина, Дугал и его отец, вся базарная площадь вместе с ее людьми сливаются в один многоголосый шум.

Он закрывает уцелевший глаз, проваливаясь в темноту, и теперь ему хочется очнуться уже в другом месте, пусть даже по другую сторону жизни.

* * *

Та же судьба, что вынесла его из погребальной ямы в лесу, не дала ему отойти в мир иной и на помосте базарной площади.

Потому что он приходит в себя в комнате с низким косым потолком и протекающей крышей. Пахнет полевыми травами. Где-то рядом, справа от него, трещат в огне сухие ветки. Здесь тепло. Жарко. Солнечный луч пробивается сквозь мутное стекло маленького окна. Слышно, как звенит колокольчик на шее какой-то скотины. Та блеет. Овечка.

Он открывает правый глаз. Дышать сейчас легче, чем было даже с самодельной повязкой – видимо, грудь ему перебинтовали заново. Как и правый глаз. И запястья. И онемевшие ноги. Он слабо видит и почти ничего не понимает, но, похоже, кто-то позаботился о нем так хорошо, что теперь он обязан этому неизвестному жизнью.

В крошечной комнате с низким потолком только одна кровать. Он лежит на ней, не имея возможности ни пошевелиться, ни повернуть голову, и все, что представляется его взору, – потолок, часть стены с окном и ближний левый угол. С другой стороны мелко дрожит огонь.

– Вы очнулись!

Дверь с той стороны, которая ему не видна, скрипит, впуская внутрь прохладный порыв слабого ветра. Его тут же бросает в дрожь, но он не понимает, от сквозняка ли это или же от неожиданного голоса.

Легкий перестук шагов напоминает ему нечто знакомое. Когда женщина подходит ближе, он чувствует сильный аромат трав, и только потом – ее собственный кисловатый запах.

– Я боялась, что не выхожу вас, – говорит она, впервые оказываясь в поле его зрения.

У нее бледное лицо с мягкими скулами и высоким лбом. Пухлые губы, изогнутые в чуть испуганной улыбке. Широко распахнутые серо-зеленые глаза. Русые волосы, собранные в ленивую косу. И тонкие, хрупкие руки, которые теперь тянутся к нему в заботливом жесте.

Если бы он мог, он бы дернулся, отодвинулся от ее узких длинных пальцев.

– Я только проверю, – почти извиняется она и кивает, ожидая его согласия, но трогает его лоб, так и не получив ответа.

Он не может ответить, он думает, что разучился говорить.

Ее пальцы касаются повязки на глазу, проводят по надбровной дуге, стирая испарину. Он задерживает дыхание.

А потом она отстраняется. И ее улыбка становится шире.

– Мне сказали, вы не знаете, кто вы, и не помните своего имени, – говорит она, снова будто извиняясь. Он смотрит на нее и молчит. Сказать ему нечего.

Тогда она смущенно произносит:

– Пока вы спали, я звала вас Серласом.

И он вдруг думает, что знает это имя.

3. Офелия у пруда

Поначалу все кажется вполне сносным. Теодор просыпается и первые несколько мгновений пытается собрать расплывающуюся реальность в единый фокус. Получается с третьего раза.

Он садится на скрипучей софе – видимо, Бен по традиции дотащил его до задней комнаты и бросил, прикрыв стеганым пледом, лет которому столько же, сколько кофейнику времен Первой Мировой, выставленному на торги.

Теодор трет опухшее лицо, спускает ноги на пол и упирается голыми пятками в холодный паркет. Дышать становится немного легче.

В душном воздухе витает стойкий аромат перегара, смешанный с по?том и чем-то травяным, пришедшим из полузабытого прошлого, отчего он морщится и фыркает. Чересчур реальный сон? Теодор выбирается из-под пледа и, опираясь на подлокотники софы, медленно встает. Пол не качается, а вид за окном – берег гавани с мутными серо-зелеными волнами – не переворачивается с ног на голову. Что уже довольно неплохо.

Теодор как может подходит к двери – для этого ему приходится сделать восемь трудных шагов, цепляясь попеременно то за заваленный газетами журнальный столик, то за ножку напольной лампы с абажуром в мелкий цветочек, то за стену – и хватается за холодную металлическую ручку. Чтобы попасть к себе в спальню, придется пересечь заставленный коробками коридор и преодолеть пятнадцать крутых ступенек витой лестницы. Черт бы побрал эту лестницу.

Он со вздохом открывает дверь, и ее петли заунывно скрипят, вгрызаясь этим звуком прямо в мозг. Черт бы побрал эту дверь.

Но Теодор не успевает ни добраться до спальни и ванной, ни даже ступить на ненавистную лестницу – из недр лавочки доносится звонкое треньканье телефонного аппарата, от которого сотрясаются едва уцелевшие после попойки и двух суток без сна стенки его черепа.

– Ах, дьявол! – сквозь зубы ругается Теодор и добавляет, едва позволяя себе повысить голос, чтобы самому не оглохнуть: – Бен, телефон!

В лавке стоит гробовая тишина, которую, словно дрель, буравит повторный звонок. Не шумит кофемашина, на плите не кипит чайник, а Бен не отстукивает по полу привычный бодрый ритм. Значит, в это предположительное утро пятницы его нет на месте.

Самостоятельно Теодор к ненавистному аппарату не подойдет – не в таком состоянии тела и духа. Игнорируя назойливую трель, он направляется к лестнице и брезгливо морщится от каждого «дзынь!». Да, это его магазин, да, на другом конце провода могут быть покупатели, и да, Теодор сам может быть заинтересован в их предложении. Но лучше он приведет себя в порядок, чем в отборных выражениях на двух языках сразу пошлет клиентов в пешее путешествие до самого замка Пенденнис.

Когда он добирается до своей комнаты на втором этаже, оказывается, что на часах уже половина первого после полудня. Были ли у него на сегодня планы? В раздумьях Теодор проводит еще полчаса. Умывается, сбрасывает вчерашний тесный пиджак с удушающим галстуком и принимает душ.

В стерильно чистую, не считая одинокой кофейной чашки в раковине, кухню он входит уже посвежевшим, но таким же угрюмым, как и вчера. Будь здесь Бен, он бросил бы язвительную фразу насчет времяпрепровождения Теодора, обязательно приправив ее своей традиционной поучительной интонацией, – но Бен сегодня отсутствует.

Наслаждаясь полным одиночеством и тишиной – надоедливый телефон умолк после третьей попытки, – Теодор неспешно заваривает себе кофе. В джезве, как полагается, не обращая внимания на полированную кофемашину, гордо

выпятившую свои глянцевые бока.

Постепенно стойкий аромат кофе заполняет собой всю маленькую кухню, и из мыслей Теодора улетучивается запах, что встретил его сразу после пробуждения и с тех пор щекотал нервы, как позабытое событие давнего прошлого, о котором напомнило мимолетное дежавю.

Теодор переливает густой напиток в тонкую фарфоровую чашечку и отмахивается от тревожных мыслей. По поверхности полумесяцем растекается кремовая пенка.

На газовой плите поджаривается тост и пара кусочков вчерашнего бекона, в открытое окно призывно задувает прохладный ветер с гавани. Теодор наблюдает за проезжающими по дороге редкими машинами и делает первый глоток танзанийского кофе.

– Мерзость, – недовольно цедит он, сплевывает в раковину и выливает туда же пропахший мешковиной напиток. Качественных поставок с Килиманджаро не было уже три месяца, и это начинает его беспокоить: пить кенийскую подделку, пусть и по словам Бена, «весьма недурную», он не станет. А без кофе каждое его утро превратится в отвратительное бесцветное продолжение жизни.

Он хватает с полки ямайский «Блю Маунтин»[3 - Blue Mountain – любимый кофе Джеймса Бонда. Дорогой редкий высокогорный сорт. Перевозят его в бочках из-под рома.]. Рано или поздно Бен заметит, что кто-то таскает из его запасов, но сейчас Теодору наплевать на злость друга. Ему нужен кофе, а бурда из кофемашины его не устраивает. Так что он ставит джезву на плиту второй раз и сосредотачивается на варке, позволяя тягучим мыслям спускаться по воронке воспоминаний вчерашнего длинного дня.

Минувшая ночь помогла ему расставить акценты: пригрезившаяся девица была не более чем больной фантазией уставшего подсознания, выглядела совсем не так, как Клеменс, хоть и взяла на себя некоторую наглость носить ее имя. Тем не менее с той самой Клеменс ее ничто не роднило, если Теодор хоть сколько-нибудь разбирался в наследовании фамилий. Дочь Генри Карлайла может зваться только Клеменс Карлайл, а эта семья, если верить слухам, никогда ирландской не считалась.

Значит, вчерашняя девица знакомой ему показалась только из-за имени, ни больше ни меньше.

Четвертый по счету звонок телефона застает его уже в зале, сидящим за трехногим кофейным столиком из темного дерева. Теодор с огромным неудовольствием отставляет в сторону чашку. Где Бен, когда он так нужен? Телефон разрывается все утро!

– Антикварная лавка «Паттерсон и Хьюз», – отвечает он, безуспешно пытаясь сделать это приветливо. – Если вы по поводу французского сервиза, то мой ответ не изменился: я не буду продавать его по частям!

На другом конце провода хрипло смеются.

– О вашем дружелюбии можно слагать легенды, мистер Атлас, – раздается мягкий мужской голос.

Теодор недоуменно прерывает свою горячую речь.

– Это Генри Карлайл, – поясняет трубка. – Простите, я набираю вас уже полдня и, видимо, не вовремя.

– Нет, я… – Теодор трет переносицу и вздыхает. – Я не люблю телефоны. Надеялся, что вам надоест названивать, и вы бросите эту затею.

Генри Карлайл снова смеется.

– Прошу прощения, мистер Атлас! – говорит он радостно. – Я не думал, что потревожу вас настолько сильно.

– По вашему голосу этого не скажешь, – замечает Теодор. И добавляет, мысленно надеясь, что Карлайл оставит его в покое: – Бен гораздо более приятный собеседник.

– Понимаю. Но я хотел поговорить именно с вами.

Надежды Теодора рушатся, как уже упомянутая крепостная стена замка Пенденнис. Сейчас он с радостью отправил бы к ней и смотрителя галереи, но правила приличия диктуют другое.

– Хорошо, – отвечает он. – Телефонные разговоры мне тоже не нравятся, так что будет лучше, если вы приедете в лавку. Или в бар на Камбэлтаун-уэй. В пять вечера.

Генри снова хмыкает, и Теодор раздражается еще больше. Наставительный голос Бена в голове сердито цедит: «Будь вежливым, Теодор! Это не какой-то сноб с выставки, это смотритель художественной галереи, с которым тебе нужно считаться».

– Простите, мистер Атлас. Но я бы хотел пригласить вас в свой дом на частную беседу.

– Что?

– Сегодня, в шесть часов. Это недолгий разговор, и, если вы никуда не спешите, я приглашаю вас на ужин.

Теодор не знает, диктуют ли правила приличия согласиться на эту встречу, но откровенно послать с таким предложением Генри Карлайла он не может. В конце концов, вечерняя беседа в гостях, увы, не считается преступлением, иначе Атлас давно отправил бы к фоморовым чертям всех без исключения дружелюбных англичан города.

– Мистер Атлас? Будем только я, вы и моя дочь. Никого лишнего.

Все хуже и хуже. Теодор скрипит зубами и тут же спохватывается, надеясь, что по телефону его состояние не передается.

– Я слышу вас, Генри. Хорошо, если вы так настаиваете…

– Да, я настаиваю, мистер Атлас, – говорит Генри чуть резче, чем того требует ситуация. И интригует еще больше. – Пенроуз-роуд, дом сорок восемь. В шесть.

Пенроуз-роуд, сорок восемь. Оттуда рукой подать до МакКоула-младшего. Прекрасно.

– Хорошо, Генри. Я приду.

– Спасибо, мистер Атлас. Я буду ждать.

Разговор обрывается короткими гудками. Теодор вешает телефонную трубку на рычаг и устало откидывается на спинку дивана. Определенно, это странный день.

Что вообще могло понадобиться Генри Карлайлу? Их общение всегда сводилось к делам аукционов и выставкам в художественной галерее, хотя смотритель нередко и с удовольствием отмечал ценные знания Теодора. К возмущению многих чванливых любителей искусства, Генри видит в Атласе знатока, о чем без страха говорит остальным. Пожалуй, только из-за этих взаимных симпатий Теодор и согласился на встречу.

Он поговорит с Карлайлом и тут же уйдет за барную стойку к Саймону. И если судьба будет к нему благосклонна, странную девицу Клеменс даже не увидит.

* * *

Дом на Пенроуз-роуд отыскивается не без труда. Привыкший к уединению Теодор с неудовольствием отмечает одинаковые желтовато-серые двухэтажные домики с красной черепицей по обе стороны улицы. Они жмутся друг к другу, что весьма обычно для английских городков, и вызывают чувство клаустрофобии при первом же взгляде.

Дорога лениво поднимается в гору и приводит Теодора к сорок восьмому дому – такому же, как и сорок семь предыдущих его копий. Невысокая каменная ограда, два тонких ствола липы во дворике, выпирающие пятиугольниками эркеры на первом этаже и крыльцо с узкими ступеньками. От остальных домов на этой улице – да и на любой другой в их несчастном городишке – этот отличается лишь темно-зеленой, а не красно-кирпичной крышей и светло-зелеными ставнями окон второго этажа.

На вопрос, который Теодор сам себе задает половину дня, теперь не находится ответа. Какого черта ноги привели его в дом Генри Карлайла, и нельзя ли было засунуть свое любопытство куда-нибудь подальше и зазвать смотрителя в менее пугающее место?

Проклиная себя, Теодор стучит в деревянную раму зеленой же входной двери.

Жаль, Бена задержала учеба и теперь некому будет вытащить задницу Теодора из этой передряги.

В доме раздаются грузные шаги хозяина, дверь открывается и являет взору хмурого Теодора самого Генри.

– Мистер Атлас! Спасибо, что согласились прийти. Проходите!

Карлайл довольно улыбается, так что Теодору тоже приходится одарить его ответной ухмылкой. На большее он не способен.

– Вы как всегда пунктуальны, – отмечает Генри и пропускает его в узкий коридор, залитый теплым комнатным светом. – Проходите в гостиную, это вперед и направо. Я пока приготовлю вам чашечку чая, если желаете.

– Я не пью чай, – отказывается Теодор. Бен в его голове ворчит и пускается в долгие поучительные наставления насчет пользы чая во время дружеской беседы. – Но от кофе не откажусь.

Генри кивает и снова улыбается. Порой кажется, что этот человек все делает с удовольствием. Теодор не может его понять.

– Разумеется. Покрепче? С сахаром?

– Без него, если можно.

Генри уже идет в кухню – белая дверь в самом конце коридора распахнута, и оттуда тянет ароматом запеченного мяса, – когда Теодор добавляет:

– Спасибо.

Одобрительно хмыкнув, Карлайл скрывается в кухне и гремит там посудой. «Только бы не растворимый!» – думает Теодор, проходя в гостиную. Уставленная мягкими креслами в тон широкому светлому дивану, столиками с торшерами, светло-бирюзовые плафоны которых заставляют серьезно задуматься о любви хозяина дома к зеленому цвету, и залитая закатным светом из широких окон, комната выглядит тесной, под стать дому. Теодор хочет поморщиться, но вместо этого садится на диван и вдруг замирает. Прямо напротив него над каминной полкой висит картина.

Сидящая у пруда рыжеволосая девушка, запрокинув голову, поправляет длинные прямые пряди. Глаза ее закрыты. Вокруг – кувшинки и зелень, даже изогнутый ствол ивы отдает зеленым. У девушки длинное светло-голубое платье с золотой вышивкой и красные цветы в волосах.

«Офелия у пруда», Джон Уильям Уотерхаус.

Теодор встает и подходит к камину. Картина висит немного выше уровня глаз, чтобы смотреть на нее можно было с дивана или кресел, так что вблизи ему приходится поднять голову. Краска на полотне заметно выцвела серо-зеленой вертикальной полоской, а по краям пошла мелкими трещинами.

Несомненно, это копия, срисованная с оригинала чьей-то умелой рукой. С оригиналом Генри Карлайл не стал бы обращаться столь жестоко.

Но, стоит отметить, картина довольно неплоха.

– Вижу, вас заинтересовала леди, – прерывает немой монолог голос Генри. Теодор не оборачивается – слышит лишь, как позвякивают чашки, – и Карлайл подходит к нему.

– Хорошая копия, – невольно признается Теодор. Его мозолистые пальцы скользят вдоль тонкой золоченой рамы и касаются полотна. Облупившаяся краска приятно трогает кожу.

– Оригинал, к сожалению, уже довольно давно никто не видел, – вздыхает Генри. – Три года назад я слышал, что он находится в частной коллекции у какого-то итальянца. Выставлять его на публику он почему-то не желает.

– Могу его понять, – усмехается Теодор.

Его взгляд натыкается на инициалы в самом углу картины: «К. К». Это удивляет: копиисты, как правило, не подписывают свои работы столь явно.

– Я не знал, что вы поклонник Уотерхауса, Генри, – тянет Теодор и оборачивается, встречая смеющиеся глаза Карлайла.

– Не я, – качает он головой. – Моя дочь. Увлекается прерафаэлитами, с тех пор как ей исполнилось тринадцать. Но вас, конечно, сложно победить в любви к Милле и его компании.

– Что вы сказали?

Генри спешит объясниться.

– Я полагаю, вы самый большой поклонник прерафаэлитов на моей памяти, спорить не стану…

– Нет, я не об этом, – обрывает Теодор. Курьезность ситуации не забавляет – пугает. – Это написала ваша дочь?

Когда Карлайл кивает, не сдерживая гордой улыбки, Теодор поджимает губы. Он не любит подобный жест, к такому обычно прибегает Бен, когда одолеть Атласа в честном споре у него не выходит. Но сейчас только это может выразить все его раздражение.

Девчонка с именем Клеменс, увлеченная рыжеволосыми женщинами с картин прерафаэлитов – совпадение не из приятных.

Не замечая его угрюмого настроения, Генри пускается в объяснения:

– Раньше я считал, что всему виной образы властных женщин с трагическими судьбами – ну, вы понимаете, максимализм переходного возраста, драмы, крушение идеалов… Но Клеменс прошла художественную школу, а потом подалась в искусствоведы. Эту картину она подарила мне после окончания

третьего курса, сказала, что писала ее на конкурс. Выиграла.

Теодор возвращается к дивану и грузно садится. На столике перед ним – дымящиеся чашки с кофе на маленьких круглых блюдцах. Атлас берет одну и делает большой глоток, обжигая язык. Вкуса не чувствуется.

Он недовольно хмурится, отставляет в сторону чашку. Его излишняя раздражительность всем сегодняшним днем только мешает.

– Надеюсь, не слишком крепкий? – участливо спрашивает Генри, присаживаясь в кресло рядом. – Варил на огне, не люблю новомодные кофеварки.

Это заставляет Теодора улыбнуться.

– Вы почти убедили меня в том, что прийти к вам было неплохой идеей, – с усмешкой заявляет он. Послевкусие от кофе Генри терпкое, с оттенком миндаля. Зря он переживал: смотритель художественной галереи не может травить свой организм растворимой бурдой.

– Что ж… – тянет Генри. Его голубые глаза лукаво улыбаются, вокруг губ появляются мягкие морщинки. – Надеюсь, индейка в винном соусе убедит вас окончательно, мистер Атлас.

Расслабленное тело Теодора наливается свинцом.

– Генри, вы пригласили меня поговорить, я не имею намерений…

Его прерывает электронный звонок из кухни, и Карлайл, словно спохватившись, весьма резво вскакивает и выходит из комнаты, оставив Теодора изображать негодующую рыбу в одиночестве. Он открывает рот, чтобы прокричать свое твердое «нет» вслед назойливому – и даже вкусный кофе и копия «Офелии у пруда» не смогут этого изменить! – смотрителю.

– Мистер Карлайл, я не могу остаться! – кричит он. Вместо ответа из кухни доносятся грохот и звон посуды.

Что за игры? Теодор с самого начала подозревал, что разговор не сулит ему ничего хорошего. Нужно было дождаться Бена, взять его с собой и оставить на ужин вместо себя.

Вздохнув, Атлас идет на кухню вслед за хозяином дома. И застает Генри за разрезанием большого куска ароматного мяса в специях. Завернутое в фольгу, оно приятно хрустит и лопается под лезвием ножа.

– Генри, – повторяет Теодор более настойчиво, – я не могу остаться, тем более нарушать вашу семейную идиллию.

– Нет-нет, в этом все и дело. Моя дочь хочет познакомиться с вами, мистер Атлас.

Генри заканчивает с мясом, ставит блюдо на середину круглого стола, а сам поворачивается к полкам, чтобы взять с них тарелки и столовые приборы. Теодор замирает в дверях, прислонившись плечом к косяку, и не может заставить себя пошевелиться.

Все это хуже некуда.

– Клеменс сейчас пишет работу… Она заканчивает историю искусств в Эколь дю Лувр, – поясняет Генри, ошибочно принимая молчание Теодора за интерес. – Я упомянул вас однажды в нашем с ней разговоре, подумал что вы могли бы помочь ей… Понимаю, это несколько нагло с моей стороны, да еще и принижает мои собственные познания, – добавляет он. – Но я увлечен греческой мифологией, вы знаете, а Клеменс интересует ирландский фольклор. И, насколько я помню, вы писали большую работу на эту тему…

У Теодора на уме только одно слово. Отвратительно.

Это отвратительное развитие событий.

– Генри, если вы полагаете, что я, как ирландец, об истории своей родины знаю немного больше обычного англичанина… – голос начинает опасно дрожать, недовольство, все это время нарастающее в груди, как снежный ком, теперь булькает где-то в горле, – то поверьте, в ирландском фольклоре я понимаю

столько же, сколько и вы, а в силу моей раздражительности, скорее всего, еще меньше.

– С этим я согласиться не могу, – настаивает Генри. Теодор невольно понимает, что упертости в смотрителе гораздо больше, чем он предполагал. – Я знаю о вашем увлечении мифологией Ирландии, Шотландии и Уэльса. Лет семь-восемь назад, насколько я помню, вы искали книги про ведьм, верно? Смею предположить, вы нашли то, что искали.

Он ошибается. Тогда Теодор не нашел разгадки, только потратил время зря, и теперь под крышей над их с Беном квартирой проживает целый архив из книг, газетных вырезок и журналов столетней давности, посвященный ведьмам и колдунам.

– И тем не менее, – добавляет Генри, виновато качая головой, – я понимаю ваше недовольство. Мне следовало бы сначала попросить вашего согласия. Я надеялся, что мы могли бы поговорить обо всем во время ужина. Если вас не заинтересовало это предложение – в чем ни я, ни моя дочь вас не упрекнем, – вы все равно можете остаться и поужинать с нами.

– Я не заинтересован, – тут же отвечает Теодор. Резко, категорично, сразу же лишив Генри Карлайла возможности пуститься в уговоры. И нехотя договаривает: – Прошу прощения. Из меня плохой наставник и плохой собеседник. Не думаю, что у нас с вашей дочерью выйдет конструктивный диалог.

Он быстро кивает, отрывает себя от дверного косяка и разворачивается, чтобы сбежать из этого тесного дома с его улыбчивым и не в меру гостеприимным хозяином.

И сразу же натыкается на серо-зеленые глаза, сердитую морщинку на лбу и сведенные к переносице темные брови.

Ее четко очерченные губы сжимаются в тонкую яркую полоску.

– Вы даже не дадите мне шанса? – спрашивает Клеменс Карлайл, стоя в проеме двери прямо перед Теодором.

4. Цитрусовый пирог с мятой

Теодор сидит напротив девицы Клеменс Карлайл по правую руку от ее отца и совершенно не понимает, как так получилось, что он согласился. Эта странная особа – ведьма, не иначе.

– Вы даже не дадите мне шанса? – спрашивает она, хлопая длинными темными ресницами. От нее пахнет мятой и жасмином, и Теодор хочет защититься от этого запаха, попросту закрыть нос и рот руками, потому что…

Потому что этот аромат возвращает его в портовый городок на берегу океана, где всегда пахло соленой влагой, лесом, полевыми травами и полынью, а в доме почти у самого берега – мятой. Там подавали травяной чай в глиняных чашках и смотрели на него светло-зелеными, почти прозрачными глазами, и улыбались четко очерченными губами, чей цвет контрастировал с бледной кожей и казался нереальным. Там было тихо, спокойно и тепло так, как не бывает нигде на свете, и там он был счастлив, там время замирало и переставало существовать.

Теодор с трудом открывает рот, чтобы ответить совсем молодой девушке – румяное лицо сердечком, мягкие скулы, широко распахнутые наивные глаза, тонкие губы – и не может выдавить из себя ни слова. Звуки застревают в горле, а его самого ведет так сильно, что он хватается рукой за косяк двери, боясь не удержаться на ногах.

Клеменс Карлайл носит имя, которое ей не принадлежит, смотрит на него глазами, похожими на те, которые он не хотел бы вспоминать, и пахнет так, как пахнуть не должна.

– Я понимаю, вы, наверное, обескуражены такой просьбой, – говорит она. Ее голос струится водой, огибающей все преграды. – Но поверьте мне, я не доставлю вам особых хлопот! Я очень быстро все схватываю, у меня отличная память, и мне не нужно повторять дважды, и я умная, правда, мне от вас почти ничего не надо, только чтобы вы немного помогли и направили меня в нужную сторону, и я…

– И вы очень много болтаете, – перебивает Теодор. Он не хочет слушать бессвязные речи этой юной особы и с удовольствием прервал бы ее куда более резкими словами. Но за ними стоит Генри Карлайл, а выглядеть в его глазах грубияном Атлас не желает.

– Да, вы правы, – тут же соглашается девушка. Поправляет волосы, прикусывает губу. Смотрит на него, не отводя глаз, и Теодор ничего не может с этим поделать – она кажется ему неуловимо знакомой, хотя все утро он отговаривал себя от этой грезы.

– Я не учитель и не наставник, – повторяет Теодор. – За этим лучше обратиться к моему другу, Бену Паттерсону. Но вы, как я понимаю, не интересуетесь медициной и биологией, а ничего другого я предложить вам не могу.

– Знаю, – кивает она и прямолинейно добавляет: – Я уже говорила с мистером Паттерсоном сегодня утром. Он сказал, что вы мне поможете…

Теодор шумно втягивает носом пропахший жареным мясом воздух. О, он убьет Бена!

– …Но, видимо, ошибся. Да?

– Да.

Ему стоит огромных усилий не раскрошить керамическую чашечку, все еще покоящуюся у него в ладони. Девушка вздыхает и протягивает ему руку.

– Что ж… Позвольте хотя бы угостить вас ужином. Папа приготовил индейку по своему фирменному рецепту, вы не можете от нее отказаться.

И вот он сидит напротив девицы Карлайл и, надо отдать должное Генри, ест потрясающе аппетитную индейку под винным соусом. И уговаривает себя, что согласился только из-за смотрителя. Теодор уважает Генри и хочет сохранить с ним дружеские отношения, если их отношения вообще можно назвать таковыми.

А его дочь, сидящая напротив, только раздражает.

– Вы специально встретились с Беном? – спрашивает Теодор, не поднимая головы от своего блюда. Девушка не отвечает, и ему приходится бросить на нее короткий взгляд. – Клем…

Оказывается, произнести это имя труднее, чем он думал. Что ж, значит, девица обойдется без него.

– Нет, мы совершенно случайно пересеклись в фойе университетской библиотеки. Он говорил с кем-то по телефону, упомянул ваше имя, и я подошла спросить про вас.

Теодор медленно опускает вилку и хмурится.

– Папа рассказывал, что вы самый большой знаток ирландской мифологии, а значит, и фольклора, – добавляет она. Теодор замечает, что говорит она все тише и тише – значит, не уверена в себе или своих словах, что ему только на руку. Будь она упертой, как ее отец, хлопот было бы больше.

– При всем уважении, – кивает он в сторону Генри, – ваш отец забыл упомянуть, что, несмотря на мои личные интересы к кельтской культуре, делиться знаниями с кем бы то ни было я не собираюсь. Повторяю, миледи, я не учитель.

За столом повисает неловкая тишина. Теодор кожей чувствует смущение Генри и недоумение его дочери. Бен бы уже рвал на себе волосы, извинялся всеми возможными способами и предложил бы выпить по чашке чая, будь он неладен. Теодор, слава Морриган, смехотворной любви к «Эрл Грею» не испытывает.

– Миледи? – насмешливо повторяет девушка. Они с Генри переглядываются так, словно читают мысли друг друга, и оба одинаково лукаво улыбаются. – Из какого вы века, мистер?

Теодор делает глоток воды, как вдруг кашляет и проливает на себя полстакана. Генри вскакивает, чтобы принести полотенца, девушка, охнув, отнимает у него тарелку. Ее руки с парой колец на пальцах мельтешат перед глазами Атласа, пока вода медленно стекает с края стола.

– Мы сегодня так уже не говорим… – хмыкнув, улыбается она. Теодор сминает в руке влажную салфетку и молчит.

– Да, – соглашается вернувшийся Генри, – верно, не говорим! Но, может, должны?

Они с дочерью снова смотрят друг на друга, будто находятся здесь вдвоем, а потом девушка оборачивается и смотрит прямо на Теодора, и он не успевает отвести глаз.

– Может, должны… – задумчиво повторяет она. Забирает из его рук промокшую салфетку и наконец отодвигается.

Генри ставит на освободившийся стол горячий пирог. От него пахнет лимоном и корицей. Теодор начинает думать, что слишком задержался в этом гостеприимном доме.

– Прошу прощения, – с неохотой вспоминая уроки Бена, говорит он и в очередной раз мысленно недоумевает, как вообще можно было согласиться на этот вечер. – У меня много дел.

– Но, мистер Атлас!.. – восклицает девица. – А как же…

– Мы уже все разъяснили с вами, мисс, – отрезает Теодор и спешит добавить, предупреждая вопрос: – И я не ем сладкое.

Она поджимает губы. Оборачивается к Генри – видимо, за поддержкой, но тот пожимает плечами и, все еще слабо улыбаясь, прикрывает глаза. То-то же.

– Что ж… – Теодор встает со стула, хлопает себя по коленям, обтянутым узкими темными брюками, и тут же кривит губы, поймав себя на этом ненужном заправском жесте. – Спасибо за ужин.

Он направляется к выходу, огибая девицу, словно ее тут и нет, и оборачивается уже в дверях.

– Мне жаль, что ваши усилия не оправдались, мисс, но эта затея с самого начала была провальной, так что не корите себя.

Атлас кивает стоящему у раковины Генри, мажет по лицу его дочери косым взглядом и выходит. Клеменс остается стоять на месте и слышит, как сердито хлопает входная дверь.

– Я не понимаю, – кусая губы, произносит она, – я обидела его? Когда я успела ему не понравиться, если мы толком и не поговорили?

Генри качает головой.

– Я говорил тебе, Бэмби, мистер Атлас не из тех, кто с радостью идет на контакт. Он не особо любит…

– Людей? Это видно.

Клеменс скрещивает на груди руки в манерном жесте, который переняла у матери, – она злится. Генри ставит грязные тарелки в раковину, молчит и делает такой вид, будто это был обычный ужин, а Клеменс расстраивается еще больше. Почему только она придает значение тому, что ее отверг, возможно, лучший кандидат на роль наставника? При всем уважении и любви к своему отцу, она не может сказать, что Генри поможет ей так, как мог бы помочь Теодор Атлас.

– Ему понравилась твоя Офелия, – говорит вдруг Генри.

– А?

Он смотрит на дочь, щуря голубые глаза, и улыбается одними уголками губ. Клеменс охает.

– Правда? – спрашивает она, не скрывая радости. – Значит… Пап, я сейчас вернусь!

Она убегает, на ходу хватая ключи от машины с полки в коридоре.

– Не ешь пирог без меня, я скоро!

Клеменс вылетает из дома и оглядывается по сторонам. Если Атлас приехал на машине, ей придется гнаться за ним до самой антикварной лавки, а это уже напоминает преследование. Ей бы не хотелось записаться в сталкеры нелюдимого Теодора, но, черт возьми, ему понравилась Офелия!

К счастью, гость пришел на своих двоих: его темная фигура еще маячит в начале улицы. Клеменс крепче сжимает в руке ключи и срывается с места.

– Мистер Атлас!

Только не это. Теодор ускоряет шаг, молясь всем богам, чтобы кричащее, наглое и совершенно невоспитанное существо убралось с его пути куда подальше. Его терпение закончилось еще в доме, так что теперь – прости, Бен, – говорить он с девицей будет на том языке, который понимают даже пропойцы старых переулков ирландского Трали.

Теодор оборачивается как раз в тот момент, когда девушка с разбегу врезается ему в грудь.

– Ой! Простите. – Она отскакивает, словно обжегшись, смотрит сначала на свои руки, потом на него. – Это вышло случайно, вы так резко остановились, а я думала, что…

– Вы все еще слишком много болтаете для своих юных лет, – обрывает Атлас. Затем хватает ее за плечи и отодвигает подальше от себя. Так поспешно, как только позволяют ему приличия.

– Нет, я просто… – Она запинается, поддергивает сползший рукав свитера и поднимает глаза. – Я не хотела на вас падать.

Девушка замолкает и смотрит на Теодора.

– Хорошо, – вздохнув, кивает он. – Это все?

Поразительно, но уходить девица по-прежнему не собирается. Вместо этого она качает головой и открывает рот, из которого тут же льются слова, слова складываются в предложения, предложения комкаются в неразборчивый лепет,

который сложно понять даже в ином, чем у него, состоянии. Теодор же злится на весь белый свет за то, что судьба свела его с говорливой особой по имени Клеменс, и вникать в ее бред он категорически не желает.

– Мистер Атлас, я понимаю, вам наплевать на меня и мою работу, и даже если я встану на колени – чего я делать точно не собираюсь, не волнуйтесь, – вы можете послать меня ко всем чертям и отказаться. Я знаю, что вы самый недружелюбный и замкнутый человек в этом городе, но, к несчастью, только вы обладаете знаниями, которые мне нужны. Считайте меня зомби-монстром, или каким-нибудь кракеном, или кем-то-еще-неважно-кем, только мне жизненно необходимо получить ваши мозги.

Она запинается, переводит дыхание, а Теодор трет переносицу, чувствуя подступающую мигрень. Фомор бы побрал эту девицу вместе с ее отцом. Симпатия к Генри Карлайлу только что стала для Теодора несущественной и проиграла огромному минусу: наличию у него приставучей дочери.

– Я не буду липнуть к вам на каждом шагу, уверяю! – продолжает она. Теодор готов пустить себе пулю в висок, лишь бы она заткнулась. – Если хотите, мы заключим с вами договор – на ваших условиях, каких пожелаете, – и я буду следовать ему и слушать вас беспрекословно! Я не буду надоедать вам, обещаю!

– Сомневаюсь, – цедит Теодор, скрипя зубами. – Вы уже наговорили слов больше, чем я готов выслушать от вас за всю вашу жизнь.

Девушка замирает с приоткрытым ртом. Кусает губу, сжимает руками края свитера, ежится на ветру. Оранжевое закатное солнце бьет ей в спину, очерчивая мягкий силуэт. От нее пахнет мятой и цитрусовым пирогом, а сама она похожа на косточку апельсина, противно застрявшую между зубами.

– Вы же меня совсем не знаете… – выдыхает она.

Тело вмиг простреливает судорога боли. Будто все эти годы аккуратно, кропотливо взращивали ее в груди, чтобы одно неловкое упоминание вскрыло затянувшийся шрам и выудило наружу чистую голую злобу.

– Разумеется! – взрывается он. – И совершенно очевидно, что узнавать не собираюсь!

Теодор вскидывает руки, словно хочет схватить ее и встряхнуть, задушить или оттолкнуть так далеко, как только возможно, чтобы она больше не смела подходить к нему и напоминать о том, что он поклялся забыть. Но вместо этого сжимает пальцы рук в кулаки, резко выдыхает и отворачивается.

Он идет прямо через дорогу – Пенроуз-роуд спускается на Джубили-роуд с такими же серыми зданиями не выше двух этажей – и не смотрит по сторонам, едва удерживаясь от того, чтобы снести чертовой девице голову со всеми ее пресловутыми мозгами.

– Атлас! – кричит она, и Теодор окончательно свирепеет.

– Вот что, дамочка! – рычит он, оборачиваясь. – Вы самая наглая, невоспитанная и глупая девица из всех, кого я когда-либо встречал, а подобных вам было немало…

Глупая невоспитанная девица вдруг делается бледнее смерти, распахивает и без того широкие глаза и неожиданно несется прямо на него. Снова. Теодор не успевает понять, что происходит: она налетает на него, толкает в грудь, взвизгивают тормоза, и оба они падают. Теодор ударяется спиной и затылком об асфальт. Девица оказывается на нем – тяжело дышит, дрожит и испуганно вскрикивает.

Темно-красный «Ситроен» скрывается за углом Джубили-роуд на повороте к больнице, и Теодор сомневается, что его хозяин великодушно доставил бы туда их обоих, если бы они пострадали.

Девица Карлайл вздыхает так, будто только что вернулась с того света.

– Господи, вы целы? – испуганно спрашивает она.

– Не поминайте Всевышнего всуе, это не Его заслуга, – ворчит Теодор.

От удара затылком мир плывет перед глазами, и ему требуется полминуты, чтобы прийти в себя. Лицо девицы распадается на две, три, четыре копии. Она скатывается с него, пересчитав локтями ребра, и он, чтобы отвести душу, мысленно обзывает ее парой непечатных слов, что нисколько не умаляет ни

злости на нее, ни раздражения на себя.

Они садятся: Теодор – прямо на тротуаре, она рядом. Выглядит потрепанной и напуганной почти до обморока, но целой, так что он быстро отводит глаза.

– Вы точно в порядке?

Теодор фыркает.

– Был бы в порядке, если бы вы не повалили меня на землю, – огрызается он. Правая лопатка саднит и набухает гематомой, он чувствует это под влажной от пота рубашкой.

– Ну, знаете ли… – возмущенно сопит девица. – Я вам жизнь спасла!

– Ничего подобного! – тут же взрывается Теодор. – Чтобы угробить меня, какого-то пьяного водителя недостаточно.

Она открывает рот, готовая снова разразиться эмоциональным словесным потоком, но почему-то замирает и щурит глаза.

– Вы что, черт возьми, бессмертный?

Теодор закатывает глаза. Как банально…

– Вообще-то да, – плоско объявляет он. Девушка – как и любой другой человек до нее – только недоверчиво качает головой. Теодор привык.

Он поднимается на ноги и стонет: спина раскалывается, он слышит, как хрустят внутри его двухсотлетнего тела кости. Перелом? Для бессмертного он слишком хрупок, если даже такая субтильная особа умудрилась раздробить ему кости об асфальт, всего лишь «спасая жизнь».

Теодор выгибается, растягивая позвоночник, от внезапной боли на его глазах выступают слезы. Девчонка даже не пытается встать на ноги.

– А теперь, – говорит Теодор, не обращая на ее шок никакого внимания, – поговорим о вашем несправедливом обвинении.

– Обвинении?

Приходится снова сесть и затолкать стон подальше в горло, чтобы девица восприняла его слова всерьез.

– Да, насчет спасения моей жизни. На вашем месте я бы не стал разбрасываться такими словами направо и налево.

Она сводит брови к переносице и кусает губу. Переводит взгляд с его лица на сгорбленную спину.

– Мистер Атлас, я думаю, вам нужно в больницу…

– Да черт бы вас побрал, мисс! – выкрикивает Теодор так, что она вздрагивает. – Если вы еще не поняли, я нисколько не пострадал и ваша помощь мне не нужна. А теперь я попрошу вас забрать назад свои слова и не вспоминать об этом. Никогда.

Не поможет. Теодор знает, что теперь у него нет выбора: даже если от столкновения с «Ситроеном» на нем не осталось бы и царапины, эта наглая самоуверенная девчонка рисковала собой, чтобы его защитить, что означает только одно. И это приводит его в бешенство, какого он не испытывал со времен студенчества Бенджамина.

Черт бы побрал этот неписаный закон. Он бессмертный, он не обязан его соблюдать!

– Ну? – зло выдыхает Теодор, путаясь в своих же умозаключениях. Девчонка несколько раз моргает, прежде чем выдавить из себя неуверенное:

– Я не понимаю, о чем вы…

Да пропади оно все пропадом! Теодор в долгу перед ней, даже если спасать его не было никакой нужды. А раз так, то…

– Хорошо, черт с вами, мисс.

– Простите?

В этот момент он ненавидит себя больше, чем ее.

– Я помогу с вашей работой. Тогда вы будете считать мой долг перед вами исчерпанным, не так ли? – Теодор настолько зол, что слова едва ему даются. Он шипит сквозь стиснутые зубы, забывая о всяком акценте.

Ее лицо все еще не выражает ничего, кроме растерянного испуга. Теодор давит, и у нее не остается иного выбора: она кивает, и неизвестно, кто из них двоих сейчас меньше верит в происходящее.

– Это странно, – наконец заявляет девушка, окончательно приходя в себя. Она встает, не сводя с Теодора напряженного взгляда. Тот тоже поднимается на ноги и сосредоточенно отряхивает брюки.

– Все это странно, а ваша реакция – в особенности. И вам явно надо в больницу.

Теодор бросает на нее косой взгляд, моля небеса, чтобы она сейчас же передумала и забрала свои слова назад.

– Вы похожи на сумасшедшего. Но это неважно, если вы согласны помочь, – договаривает она. Надежды Теодора рушатся вместе с его уверенностью в своей адекватности. Он в самом деле сумасшедший, раз идет на поводу у взбалмошной нахалки.

– Приходите в антикварную лавку «Паттерсон и Хьюз» завтра после обеда, – с неохотой говорит он. – Посмотрим, что вы знаете.

Клеменс радостно смотрит ему в глаза и даже не догадывается, что заключила сделку с дьяволом.

III. Базарная площадь в полдень

Дом, пропахший пряными травами и лесом, стоит на окраине города, если не сказать, за его чертой. Вокруг растут полевые цветы, из окон виден берег залива. Влажный ветер трогает вывешенное на заднем дворе белье, в воздухе эхом переливается колокольный звон маленькой городской церквушки. До базарной площади отсюда добрые две мили, и бог знает, кому в прошлом настолько опостылела городская жизнь, что он построил свой дом так далеко. Но Серлас с легкостью привыкает к уединению.

Просыпаясь, он первым делом открывает ставни и подставляет лицо соленому ветру. Заправляет узкую кровать и выходит во двор. Умывается водой из колодца, потом входит в кухню через заднюю дверь и приносит ведро с водой для мытья посуды. Вернувшись к себе, он с трудом стягивает с тела ночную рубаху и, подогнув правую руку, осматривает цветное пятно под повязкой. С каждым днем оно тускнеет, оставляя после себя только рубец шрама. Похожий тянется поперек его левой брови мимо века вниз по виску. Тонкая рваная полоса напоминает о потерянных годах жизни.

Серлас со всех сторон осматривает бок и накладывает смоченную в травяном настрое повязку, потому что если этого не сделает он сам, то придет женщина, и обоим будет неловко. После этого, как правило, он слышит звон посуды в смежной с кухней комнате и приходит на помощь.

Женщина, спасшая его от позора и возможной гибели, поет песни. Каждый день новые. Они то звенят в свежем воздухе, вторя церковным колоколам, то льются вместе с колодезной водой из ведра в кадку, то дрожат искрами от поленьев в камине, разжигаемом вечерами. Серлас слушает их и отправляется в путешествие по дальним странам, где никогда не бывал, за моря и океаны, по которым не плавал и не видел даже, или уходит в глубь лесов, чтобы найти себя и то, что утеряно.

Темная глушь, в которую превратилась его память, похожа на подернутое туманами болото, и в нем не найти ответов, что приведут его к прошлому. Но когда хозяйка дома поет свои песни, туман становится бледнее, а водная гладь – прозрачнее. И Серлас думает, что прошлое его близко.

– Ветер колышет ольху над водой, солнце и зной, лето и зной…

Этот голос не похож ни на один, который Серлас слышал – или мог слышать. Женщина вьет свои песни прямо из воздуха, собирает по слогам из влажной поутру травы и бог знает из чего еще.

Эти песни спасают его от боли и тьмы, сквозь которую не разглядеть ни тени.

– Нежные думы несет он с собой, ласковый солнечный зной…

Серлас входит в низкую кухню, запахивая старый суконный плащ, и останавливается в дверях. Женщина стоит спиной к окну – белые солнечные лучи наискось прорезают воздух до самого очага – и ее волосы крупными локонами струятся по спине и острым плечам. Светло-русые, с редкими нитями цвета осени, что видны только на солнце. Как сейчас.

Ее зовут Несса.

Нес-са.

Иногда Серласу кажется, что она ненастоящая, что он ее выдумал.

– Снова плохо спалось, Серлас? – спрашивает она, не поднимая головы. Ее руки с силой сминают ком теста, пальцы и кисти побелели от муки. Серлас моргает, прогоняя наваждение.

– Нет, миледи, – отвечает он хрипло. – Я спал прекрасно.

Несса бросает на него короткий взгляд и улыбается.

Она просит звать ее по имени и оставить этот неизвестно откуда взявшийся высокопарный тон. Но Серлас ничего не может с собой поделать: язык спотыкается на простом имени, выдавая какофонию совершенно неизвестных роду людскому звуков. Словно весь мир запрещает ему произносить имя своей спасительницы губами, чей хозяин не знает даже себя.

– Я думаю посетить город после обеда, – говорит Несса. – Сегодня базарный день.

Пирог с патокой уже нежится в печи рядом с пряным мясом, и Серлас с удовольствием вдыхает аромат, от которого кружится голова.

– Я могу пойти тоже? – Он украдкой, пока не видит Несса, облизывает губы. Но она замечает и улыбается.

– Если бы не спросил, я сама бы тебя позвала. Только придется нам быть осторожными. Сегодня на площади будет много людей, и семья Конрада тоже придет.

Серлас кивает, чувствуя, как кости ноют от одного лишь воспоминания.

В город он ходил и до этого. Обычно Несса выбирала сухие и теплые дни, и когда вечернее солнце окрашивало крыши домов закатным маревом, запрягала в телегу тощую пегую кобылу и ехала в сторону площади. Серлас садился позади нее или рядом и морщился всякий раз, как колесо наскакивало на камень и телегу подбрасывало вверх. Тяжело срастaвшиеся ребра все еще давали о себе знать.

Спокойные вечера в городе не редкость, но Несса ищет самые тихие, чтобы не вызывать неудовольствия горожан и брать с собой Серласа. Они приходят на базарную площадь, огибая главную улицу, вдоль которой теснятся торговые лавочки, ростовщики и запоздалые крикуны-торговцы рыбой. Серлас старается не смотреть на помост для казней – ему кажется, что он видит там кровь даже спустя месяц после своего появления, – и шагает за Нессой до дома Ибхи, старой знахарки, с чьей дочерью Мэйв дружит травница. Там они на некоторое время прощаются: Несса заходит к Ибхе, а Серлас отступает в тень часовни и разглядывает оттуда уставших после трудового дня горожан. Иногда к ним присоединяются рыбаки с пристани. Они напиваются в ближайшем трактире и горланят свои песни.

Молчаливая память в такие моменты подкидывает Серласу слова из неизвестных ему строк, и он с трудом находит в себе силы молча наблюдать, оставаться незамеченным. Несса говорила, что Серлас не был английским подданным, не был солдатом и не убивал ирландцев. Что он был пиратом и оттого – врагом Англии, вот почему знал и морские легенды, воплощенные в рыбацких песнях, и гэльский говор. Серлас хмурился и кивал, чтобы только она прекратила тревожащие сердце речи.

Едва ли это могло быть правдой.

– Садись рядом, Серлас, – зовет Несса и хлопает бледной ладонью по доске ко?зел. Солнце освещает дворик, прорезая резво бегущие по небу сизые облака, и его лучи падают вертикально вниз. Слишком рано для посещения города – там будет много людей.

Серлас неуклюже карабкается на телегу и шипит сквозь зубы, когда выгнутая балка чиркает его по боку. Несса подает ему руку, но он делает вид, что ее не замечает. Скоро ему придется обходиться без чьей-либо помощи, и лучше привыкать к этому уже сейчас.

Они выезжают на дорогу – продавленная колесами колея взбирается на холм и ведет к городу. Несса воркует с лошадью, поглядывает на Серласа. Тот кажется спокойным, хотя внутри него все сжимается от нехорошего предчувствия: людный Трали не примет его с распростертыми объятиями, и травницу Нессу, дочь Уны, снова оклевещут злыми наветами.

Он думает, что доставляет своей спасительнице слишком много хлопот. Он должен уйти.

– У нас заканчиваются и рыба, и мука, – неожиданно говорит Несса и смотрит на Серласа так, словно за это извиняется. – И даже масло подходит к концу, а Матильду надо бы подковать по новой, пока старушка ноги не потеряла. Я бы не просила тебя ехать со мной, если бы в этом не было большой нужды. В базарный день торговцы такие сговорчивые… Я хочу купить у Делмы сразу два мешка муки, чтобы не таскаться за ней через месяц. Надеюсь, мы сторгуемся.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Дурень, балбес (гэльск.)

2

Англичанин (гэльск.)

3

Blue Mountain – любимый кофе Джеймса Бонда. Дорогой редкий высокогорный сорт. Перевозят его в бочках из-под рома.

Купить: https://tellnovel.com/han_kseniya/hozyain-teney

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити